

Б И Б Л И О Т Е К А

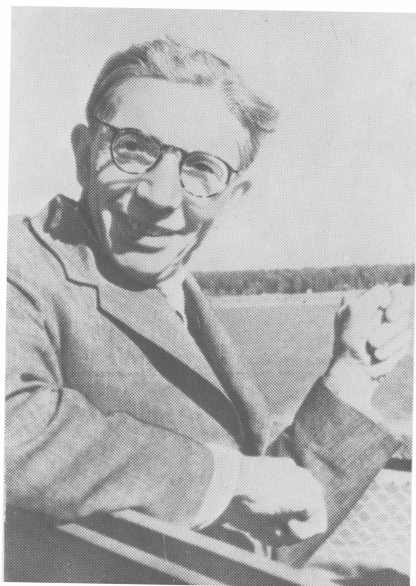
ISSN 0132-2095



ОГОНЁК

№ 13

1990



*Сергей ЮДИН*

ПОДАРОК  
КО ДНЮ  
РОЖДЕНИЯ

МОСКВА  
ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ПРАВДА»



БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 13

Издается с января 1925 года

Сергей ЮДИН

## ПОДАРОК КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ

Москва. Издательство «ПРАВДА»  
1990

*Сергей ЮДИН  
(1891—1954 гг.)*

*Сергей Сергеевич Юдин родился 27 сентября (9 октября) 1891 года в Москве.*

*В 1915 году окончил медицинский факультет Московского университета.*

*С 1928 года — главный хирург московского НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. В годы Великой Отечественной войны 1941—1945 годов старший инспектор — консультант при главном хирурге Советской Армии.*

*Ему принадлежат труды по проблемам брюшной, неотложной и военно-полевой хирургии, анестезиологии, по изучению нервно-гуморальной регуляции желудочной секреции. Разработал методики резекции желудка при язвенной болезни, прободной язве желудка и желудочном кровотечении, операции создания искусственного пищевода.*

*Лауреат Государственных премий (1942 и 1948 годы) и Ленинской премии, присужденной посмертно, в 1962 году.*

*Академик АМН СССР С. С. Юдин был почетным членом Королевского общества хирургов Великобритании, американского, парижского, пражского, каталонского обществ хирургов, почетным доктором Сорбонны.*

## ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Поэты посвящают своим женам стихи, художники запечатлевают их образ на картинах...

Всемирно известный хирург Сергей Сергеевич Юдин, в душе истинный поэт и художник, но никогда не считавший себя таким, готовил Наталии Владимировне Юдиной, своей жене, книгу собственного сочинения, ей посвященную. Однако «популярный, — как он выразился, — подарок», очень нескоро, спустя мучительно долгие годы, достался ее обладательнице...

«Захарьино. X.1919—III.1922». Так назвал он свою книгу. 278 страниц четкого и ясного, как машинопись, почерка. Как гласит предваряющее книгу содержание, в ней всего четыре главы: «Проф. Г. А. Захарьин», «З. Ю. Ролье», «А. В. Иванов» и «Моя жизнь и работа в Захарьино». Писалась книга не наспех, хотя ее автор и был ограничен во времени, торопился завершить к заданному самим себе сроку — к 21 июня, ко дню рождения жены, как и гласит предпосланное рукописи посвящение. Первая глава была начата, по всей видимости, весной 1949 года, последняя страница написана, как пометил автор, 16 июня 1949 года. Но есть еще и промежуточная дата, что на пятьдесят первой странице: «Лефортов. тюрьма. 97 кам. 26 мая 1949».

Да, именно там, в застенках, рождались страницы этого бесценного автобиографического повествования, переносящего нас в годы юности хирурга.

Юдин стал жертвой сталинского произвола в последних днях 1948 года. Все было: допросы, пытки лишением сна, голодовки протеста. Тяжелый инфаркт. Тюремная больница. Приходится поражаться силе духа Юдина, могучей воле этого человека, сумевшего в таких условиях повествовать о самой прекрасной и в то же время трудной поре своей жизни.

Время действия описываемых событий — тяжкие годы лихолетья. В стране разруха, голод, эпидемии, инфляция... Место действия — санаторий и больница в Захарьино (ныне здесь размещается Куркинская туберкулезная клиническая больница № 3), куда поступали больные с огнестрельными и другими ранениями. Тут, именно в Захарьино, два-

дцативосьмилетний Юдин выполнил первую в своей жизни операцию резекции желудка, виртуозным исполнителем которой, спасая сотни жизней, он станет.

В своей книге Юдин талантливо, как только умел это делать он, за что бы ни брался, воссоздал галерею товарищей по оружию — виднейших хирургов, терапевтов, пульмонологов двадцатых годов. Будто эскизами к будущим портретам предстают мастерски нанесенными мазками неизменные друзья хирурга — художники и артисты. Остросюжетно воспроизведены картины голода и резко контрастирующие с ними сцены из недавней шикарной жизни великосветского общества.

Для данной публикации отобраны страницы рукописи, воссоздающие облик земского врача Алексея Васильевича Иванова, к которому Юдин относился с особой нежностью и благодарностью «за уроки врачебной этики, морали и сознания долга», и страницы, непосредственно обращенные к той, которой они предназначены и посвящены, к той, «чье сердце, безусловно, тронут мои повести... — подруге дней моих суровых... и моей спутнице не только в «Захарьино», но и на всех путях совместной жизни».

Галина Куликовская

## ПОДАРОК КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ

Осенью 1919 года, будучи демобилизован с военной службы, я отыскал в Москве своего старого друга, доктора Алексея Васильевича Иванова из Никольской земской больницы. Мы были хорошо знакомы, ибо в 1915 году, во время моего приезда с фронта, я не только проработал месяца три в его больнице, но при этом ночевал у него на диване в квартире. Спать приходилось мало: я с жадностью обучался врачебному делу в амбулатории и больнице, а вечерами до самой глубокой ночи с такой же жадностью слушал интересные рассказы Алексея Васильевича о своих студенческих годах, о профессорах-учителях и о товарищах — земских врачах. Эти ночные сидения были для меня не только отличными наставлениями для дальнейшей практической деятельности, но особенно важны, как незаменимые уроки врачебной этики, морали и сознания долга.

В моей тогдашней судьбе он, определивший во многом все последующее развитие моей жизни, Алексей Васильевич, сыграл главную роль. Но независимо от того, что он был центральной фигурой в Захарьине, Алексей Васильевич представляет собой весьма колоритную личность и типичного земского врача. Поэтому попытаюсь восстановить его облик таким, каким я знал его в течение двадцати лет (1915—1935) и каким он дополняется по собственным его рассказам.

Мы познакомились с ним зимой, в самом начале января 1915 года, на журфиксе у Тимашевых. Я приехал с фронта и в один из четвергов отправился к Тимашевым, в дом которых я стал вхож еще до войны, когда познакомился со старухой Антониной Платоновной и ее младшей, любимой дочерью Лёлей — очень эффектной девушкой, развитой и внешне и внутренне не по возрасту; ей было лет 16—17. Знакомство наше произошло в доме А. Ф. Морозова, который был двоюродным братом Тимашевой, а я, будучи студентом, давал уроки и был воспитателем двух сыновей Морозова. Антонина Платоновна относилась ко мне хорошо, зная, что я великолепно воспитан в семье известных московских фабрикантов. Тимашевы тоже были очень богатыми фабрикантами — владельцами единственной в России фабрики механических прошивок и кружев.

Жили Тимашевы на очень широкую ногу. Их дом на Покровской улице (ныне Бакунинская) находился при фабрике, а кроме того, у них была роскошная дача за Всехсвятским, чуть вправо от вилки Петербургского и Волоколамского шоссе. Фабрикой и магазинами ведал старший сын Антонины Платоновны, по-видимому, дельный коммерсант и хозяин. Он был женат, постоянно присутствовал на журфиксах, но был неразговорчив и рано засаживался за преферанс.

Но если теперь, т. е. в 1915 г., Тимашевы жили очень богато, то был момент, несколько лет тому назад, когда судьба, вернее, материаль-

ное благосостояние всей их семьи и участь фабрики были не только под ударом, но почти погибли. И нужно было нечто сверхъестественное, чтобы спасти положение.

Случилось, что Семен Павлович, муж Антонины Платоновны, владелец фабрики, проиграл в один день 200 тысяч рублей на билиарде в ресторане «Эрмитаж». А сверхъестественный выход он нашел в том, что взял у Алексея Васильевича его револьвер и застрелился. Этим он спас свою честь от позора невыплаты проигрыша, а всю семью свою — от разорения. Лёля стала сиротой лет восьми или десяти.

А сейчас у Тимашевых в доме был опять траур. В августе, как только началась война, младший сын Антонины Платоновны — 20-летний Дмитрий Семенович уехал добровольцем на фронт и служил мотоциклистом-связистом при одной из армий, взявших с боями Львов. Там он заболел брюшным тифом и умер. Антонина Платоновна успела туда приехать и застать сына еще живым. Благодаря связям и деньгам ей удалось привезти гроб с телом в Москву. И теперь мать и дочь ходили в гладких черных платьях, специально сшитых безо всяких фасонов и украшений, хотя траурный креп уже был снят. Они каждый день ездили на кладбище на своем автомобиле и проводили там полчаса-час вдвоем у могилы.

Но эти поездки на кладбище не должны были мешать тому, что по четвергам, как то велось уже много лет, часов с восьми вечера в парадные комнаты великолепного особняка Тимашевых начинали съезжаться знакомые — более или менее постоянные посетители этих *jeu-fuxe*. В одной столовой непрерывно шло чаепитие, ибо одни гости собирались раньше, другие приезжали позже; здесь сама Антонина Платоновна сидела, разливая чай и беседуя с более пожилыми дамами, которые так и оставались у чайного стола, заставленного тортами, пирожными, конфетками и фруктами. Во второй столовой два стола были заставлены один холодными, другой — горячими закусками и винами. Сюда в течение вечера и половины ночи каждый мог ходить сколько угодно раз, без приглашений: мужчины — после каждой «пульки» или «роббера», молодежь — между шарадами и живыми картинами.

Вспоминая об этих журфиксах Тимашевых в годы нашей жизни в Захарыне, т. е. в разгар форменного голода, Алексей Васильевич как-то раз высказал мне: «А ведь Революция и голод — прямые следствия таких тимашевских журфиксов. Знаете ли Вы, что после каждого такого четверга у Тимашевых штук 30—40 жареных рябчиков выбрасывали в помойку. А жарили столько в запас, на случай, что гостей может собраться больше ожидаемого. Вот за эту беспардонную расточительность теперь пришла расплата».

Самое знакомство наше с Алексеем Васильевичем произошло не совсем в обычной форме. Когда я приехал и поправился с Антониной Платоновной, то она, представивши меня нескольким знакомым дамам, вслед затем встала из-за чайного стола и сказала, что хочет познакомить



меня с доктором, давнишним другом ее семьи; мы вышли в зал, и она направилась к одному из двух мужчин, не игравших в карты, а стоявших около стены и куривших папиросы. «Вот, Алексей Васильевич, — сказала она, обратившись к лохматому, взъерошенному мужчине лет сорока, в золотых очках, одетому в помятый черный пиджак, — позвольте Вам представить тоже молодого доктора, только что вернувшегося с фронта. Он уже георгиевский кавалер».

Мой новый знакомый поглядел на меня поверх очков и не только не сделал искусственной улыбки, но, наоборот, сморщил брови, уставился глазами на мою Георгиевскую медаль и, еле протянувши руку, молча продолжал покуривать свою папиросу. Я бы немедленно отошел, но сама Антонина Платоновна продолжала стоять около него и ласково взяла меня под руку. Тогда вдруг Алексей Васильевич ни с того, ни с сего довольно раздраженным тоном сказал: «Ох, уж эти мне зауряд-врачи и женщины-врачи! Вот где они у меня сидят, — и он постучал себя по шее ззади. — А на фронт они ездят либо вот за медальками, либо как на увеселительное развлечение. Знаю я их! Нагляделся и в японскую войну, и теперь — в лазаретах».

«Да что Вы, Алексей Васильевич! Чего Вы на него сразу взъелись, впервые увидевши. А я Сергея Сергеевича знаю уже года три как очень серьезного молодого человека». — «Ах, это тот самый студент, который морозовских детей воспитывал?» — переспросил Алексей Васильевич. «Ну да — он самый. Я Вам про него несколько раз упоминала».

С этими словами она отошла, и я тоже, дабы не связываться со столь суровым человеком. Но Антонина Платоновна, желая исправить впечатление, уверяя меня, что за этой мрачной наружностью и напускной резкостью и даже грубостью в Алексее Васильевиче таится добрая душа и полнейшая искренность.

Я направился в буфетную с закуской и взял было себе на тарелку икры. В это время сюда же вошел Алексей Васильевич и, увидевши меня, подошел и с ласковой улыбкой сказал: «Вы уж не сердитесь, коллега, что я сразу так напустился на молодых врачей и на женщин-врачей. Но право же — беда с ними работать. Вот у меня на руках больница, целый район и еще семь лазаретов. Мой постоянный второй врач призван в армию — и на фронте. А сколько я ни менял врачей в лазаретах, все попадают одна хуже другой».

Он стал брать себе тоже закуски и собирался еще что-то сказать, когда к нам подошла опять Антонина Платоновна. Она начала было его упрекать за выходку по адресу Рябушинского, но Алексей Васильевич перебил ее и стал рассказывать ей «замечательный случай» из его недавней хирургической практики.

Я, конечно, не могу вспомнить характера и особенностей «случая», но твердо помню, что после его рассказа я переспросил о дополнительных данных, показывавших, что я вполне оцениваю и сам «случай» и тактику врача. А когда Алексей Васильевич ответил мне слишком общо, то

я спокойно, но довольно твердо ему указал, что в его ответе содержатся по меньшей мере три или четыре различных возможностей и вариантов как для уточнения диагностики, так и для различной терапии. «Который же из вариантов был в действительности?» — спрашивал я довольно настойчиво.

Алексей Васильевич немного смутился и смолк. А улыбающаяся Антонина Платоновна, отходя от нас, дружески заметила: «Ну вот, а Вы на него сразу накричали».

Через десять минут непрерывных медицинских разговоров Алексей Васильевич мне вдруг говорит: «Знаете что, коллега, поедemте ко мне в больницу. Поможете мне. Я уж вижу теперь, что Вы заинтересуетесь и сами будете довольны». Я спросил: «Когда же?» Он вынул часы и говорит: «Поезд есть в час ночи, через 40 минут, как раз поспеем».

«Domine! quo vadis?»  
(Господи! Камо грядеши?)<sup>1</sup>

Я не знал, ни куда ехать, ни по какой дороге, ни сколько километров от Москвы. Я видел Алексея Васильевича первый раз в жизни и никогда не слыхал о нем раньше. Он встретил меня при представлении не только резко, но прямо грубо. А его выходка с Коко Рябушинским показывала, как далеко может идти его непосредственность и пренебрежение манерами.

Зато, излагая свой «случай», он так горел увлечением, а теперь он звал меня с собой, глядя столь открытыми, добрыми, доверчивыми глазами, о коих знаю либо от него самого, либо по рассказам его друзей: пошел за ним, в неизвестность.

\* \* \*

В Химки мы приехали около двух часов ночи, а в Никольскую больницу добрались на извозчике часам к половине четвертого. Но, сколько мы ни говорили с Алексеем Васильевичем и в поезде, и в санях, приехавши к нему в особнячок, и согревшись в тепле после мороза, мы просидели за разговорами... еще часа полтора. Наконец, под утро, мы легли спать.

Так как я пишу сейчас не о себе, а об Алексее Васильевиче, то к построке Никольской больницы и его работе в ней я вернусь в свое время. Сейчас же обращусь к некоторым более ранним эпизодам его жизни, о коих знаю либо от него самого, либо по рассказам его друзей: Меркулова, Гетье, Ферапонтова и других.

Медицинский курс он проходил в двух университетах: харьковском и московском, из которого-то из них его уволили за «беспорядки», т. е. политическую неблагонадежность.

---

<sup>1</sup> Куда идешь?

Затем он экстерничал в Басманной больнице и часто посещал Старо-Екатерининскую.

Главным врачом Басманной больницы в те годы был Федоров — отец Сергея Петровича, будущего знаменитого хирурга. Но в то время как Алексей Васильевич был кончающим медиком, Сережа Федоров учился в гимназии, и, по-видимому, плоховато, ибо искали репетитора. Подрабатывавший частными уроками Алексей Васильевич явился к Федоровым по чьей-то рекомендации, предлагая услуги. Но вид его не понравился родителям, ибо он пришел в косоворотке под пиджаком и в сапогах навыпуск, что создавало впечатление о нем как о несомненном участнике какой-нибудь подпольной революционной организации. Ему под благовидным предлогом отказали и пригласили другого, менее вульгарно одетого.

Из эпизодов в Басманной больнице, рассказанных Алексеем Васильевичем, я вспоминаю два-три. Например, случай доставки раненой террористки-революционерки, пострадавшей от собственной бомбы, когда она ее бросала в губернатора. Я не запомнил ее фамилии со слов Алексея Васильевича. Зато очень живо представил себе дежурку Басманной больницы (где мне потом столько раз пришлось бывать на консилиумах), куда собрались несколько дежурных врачей, в том числе из других барakov, ибо для наркоза и ассистенции иногда вызывали дежуривших по другим корпусам.

Обсуждают — как быть? Ведь революционерку все равно повесят. Так зачем же ее оперировать? Для того лишь, чтобы ее потом казнили? Не лучше ли дать умереть ей под наркозом, т. е. от передозировки хлороформа. Так было и решили. Но тогда встал вопрос: кто будет давать наркоз? И все по отдельности стали отказываться, ссылаясь, что, может быть, еще ее и не казнят, а мы ее убьем хлороформом по собственному решению, да еще не спрашивая согласия самой пострадавшей.

Так все и отказались. Ее оперировали и вылечили, а потом ее все же повесили.

Когда Алексей Васильевич был принят на службу в Московское уездное земство, то ему намечено было поручить строительство больницы на Петербургском шоссе, между деревнями Никольская и Химки, почти напротив деревни Аксینیно. А пока выделяли средства, составляли и утверждали проект и подвозили строительные материалы, ему было предложено отправиться в деревню Тушино на Волоколамском шоссе, арендовать там у крестьян избы и начинать работу.

В какой мере «Захарыно» было роскошным дворцом по сравнению с Никольской больницей, в такой же мере последняя была пределом мечтаний для молодого Алексея Васильевича, существующая лишь в проекте, а пока что в Тушине было бедно и неудобно.

Действительно, Алексею Васильевичу удалось арендовать одну большую, но ветхую крестьянскую избу в три окна для «больницы», а вторую избу с двумя половинами — зимней и летней — для амбулатории и собст-

венного жилья. Словом, более примитивные условия трудно представить. Зато ни об одном этапе своей жизни и работы Алексей Васильевич не рассказывал с таким увлечением и любовью, как именно в Тушине. Так, вероятно, полководцы на старости вспоминают и повествуют о своих походах и победах, может быть, не самых главных и значительных, но любимых, то ли доставшихся ценой особых волнений, то ли воскрешающих счастливую пору безвозвратно ушедшей молодости.

Когда теперь, в 1949 году, я вспоминаю повести Алексея Васильевича, рассказанные мне в 1915 году в Никольской больнице и в 1919 году в Захарыине, то в них звучит не столько радость победы над болезнями, сколько гордость завоевания доверия населения.

А это была целая проблема. Конечно, чем несомненной и ярче были сами медицинские успехи, тем легче удавалось привлекать к себе население. Но ведь для того, чтобы показать крестьянам медицинские возможности, надо было на ком-то начать, т. е. получить доверие авансом. А даже здесь, в Тушине, совершенно рядом с Москвой, население в те годы было еще полностью во власти предрассудков и суеверия. Если и в наши дни, при огромных успехах медицины и полнейшей доступности квалифицированной врачебной помощи, даже в самой Москве появляются знахари вроде «Тайнинского деда» или гражданки Н., вылечивающей любые болезни «камнем сердоликом», то 60 лет тому назад было очень трудно побороть влияние и авторитет знахарей и различных «бабок», особенно если они действовали заодно или находили покровительство местного духовенства. «Божье предопределение», т. е. обреченность, считалось фактором, всецело решающим собой вопросы болезни и выздоровления, жизни или смерти. Сколько же нужно было труда, энергии, энтузиазма и терпения, чтобы выступать пионером, одному против вековой рутины и чисто животного страха.

Вот, например, эпидемия дифтерии на суконной фабрике Полякова (тут же, рядом с Тушином, у последней запруды на речке Сходне). В совершенно антисанитарных условиях, в предельно перенаселенных «спальных», где по несколько семей рабочих живут вместе, в одной комнате, ежедневно умирают по несколько детей и младенцев. Больны чуть не все дети поголовно и многие взрослые. Среди рабочих, особенно женщин (матерей), — паника. Каждый день похороны, когда в церкви Спас-Тушино детских гробиков на скамейках устанавливают целый ряд.

Врачебная работа в подобной ситуации довольно трудна и не особенно благодарна. Некоторые матери, потерявшие одного ребенка, при заболевании второго делаются почти безумными, и уговаривать их согласиться на производство антидифтерийных впрыскиваний бывало иногда очень трудно. Ребята, конечно, кричат не только от самих уколов, но от вида незнакомого врача, да еще в очках. Этому крику вторят другие дети в комнате, где делают прививки, и в темном коридоре, где толпа матерей с детьми трепетно ждет своей очереди. «Иголка-то очень длинная?» — всхлипывая, спрашивает стоящая на очереди у выходящей. «А

толстая иголка-то?» — почти со слезами спрашивает совсем юная мать с грудным младенцем на руках. И т. п.

Но какова уверенность больных в свою обреченность и полнейшую зависимость судьбы от воли Божьей, Алексей Васильевич познал, наблюдая тех, кто лег лечиться или умирать в арендованную тушинскую избу.

Невольно приходит на память цитата из повести Лескова о Косом Левше, подковавшем заводную английскую блоху: «Вези его, — сказал квартальный, — в Обухвинскую больницу. Там и неведомого звания людей всех умирать принимают». Веря в могущество медицины и собственные знания, Алексей Васильевич стал класть в свою «больницу» всех, кого только ни привозили родственники, чтобы самим избавиться от забот и ухода за явно умирающими. И вскоре госпитальная изба наполнилась стариками и старухами по большей части с отеками и водянками. Все лежали в единственной комнате, частью на скамьях вдоль стен, остальные на полу, на соломенных подстилках.

Алексей Васильевич делал обходы утром и вечером, назначая дигиталис, мочегонные, медвежье ушко, кофеин, которые большинству больных могли помочь лишь очень мало и ненадолго, ибо болезни были слишком запущены, а сами больные слишком стары.

Среди поступивших в первой партии двое или трое оказались с циррозами печени и громадными брюшными водянками. Приходилось то одному из них, то другому выпускать жидкость, делая для этого прокол живота толстым троакаром. Сами эти проколы производились тут же, в госпитальной избе, на глазах остальных больных.

Обычно Алексей Васильевич приходит с переднего крыльца избы, со стороны улицы. Но как-то однажды он зашел со стороны двора, через те сени, где висел умывальник. Пока он мыл руки, ему были слышны внутри избы разговоры больных, не подозревавших о присутствии Алексея Васильевича.

«Да, — произнес, вздохнувши, чей-то мужской голос, — видно, сильней Бога-то не будешь! Намедни уж какой он огромный гвоздь-то старику в живот воткнул. А все-таки тот после этого гвоздя два дня жил, покамест господний срок не подошел. Тогда только и смог умереть».

Алексей Васильевич буквально остолбенел. Так вот как воспринимаются больными его старания помочь им! Они уверены, что троакаром он их просто прикалывает, причем и этого-то не умеет как следует, ибо вот тот старик целых два дня еще прожил после неумелой попытки приколоть его.

«Так зачем же они тогда ложились в больницу?» — воскликнул я, слушая рассказ Алексея Васильевича. «По двум причинам, — ответил он мне. — Во-первых, они не сами ложились, а их сбывали с рук снохи, зятя, даже собственные дети, у которых своих детей народилось полная изба; сдать в больницу стонущих, неопрятных стариков, которых вот уже скоро год как смерть не берет, — дело прямого расчета. Во-вторых,

именно абсолютная уверенность в заранее предопределенной судьбе, назначенной Богом, делала в их мнении все врачебные действия столь же беспомощными, сколько и безвредными. Зато в больнице задаром кормят и есть хоть какой-нибудь покой».

«Да ведь не только одни мужики и бабы подвержены таким взглядам и переживаниям,— продолжал Алексей Васильевич.— Там же в Тушине мне пришлось лечить жену своего учителя — профессора Булыгинского, они здесь жили летом на даче. А в минуты отчаяния этот профессор рассуждал и вел себя ничуть не лучше тушинских крестьян». И он рассказал мне следующее.

Булыгинский был профессор медицинской химии. Жена его, женщина значительно моложе его самого, заболела очень тяжелым, острым воспалением тазовых органов и была в опасном положении. Раза два из Москвы на извозчиках привозили известных терапевтов, которые могли помочь лишь общими мероприятиями. Гинекологов-специалистов еще не было вовсе, а единственный настоящий гинеколог (и коллега Булыгинского по Московскому университету), В. Ф. Снегирев, уезжал каждое лето в г. Алексин, на Оку.

Ежедневное наблюдение за тяжелой больной взял на себя Алексей Васильевич, как врач местного земского участка. Булыгинский, не будучи сам клиницистом, плохо разбирался как в состоянии больной, так и во врачебных назначениях. Он видел лишь, что жене его день ото дня все хуже, а молодой врач как ни старается, но сам, видимо, мало рассчитывает на конечный успех. Чем дальше, тем Булыгинский становился мрачнее и неразговорчивей, пока однажды он не сказал Алексею Васильевичу: «Вот что, коллега! Я Вам, разумеется, благодарен за понесенные хлопоты, но, видно, ничего хорошего ждать уже нельзя. Больную мы причастили, пособовали и теперь будем ждать Божьего решения. А лекарства и инъекции, пожалуй, уж можно прекратить: они бесполезны».

Как ни молод был Алексей Васильевич, как ни связывал его факт, что Булыгинский — его учитель, однако его взорвало, а в такие минуты он бывал горяч. Эту горячность Алексей Васильевич впоследствии проявлял на земских собраниях, заслужив карикатуру, на которой он был нарисован в виде апокалипсического зверя, с надписью из «Телемахида»: «чудище обло, огромно, озорно, стозевно и лаий».

В горячей отповеди Булыгинскому звучал элемент не столько личной обиды, сколько протест против недоверия к медицине и досада за судьбу молодой женщины, которую, отбирая у врачей, передают попом. Алексей Васильевич умел говорить, спорить с ним всегда бывало трудно.

Видимо, Булыгинский смутился и даже растерялся. А тогда Алексей Васильевич, видя, что ему уступают больную обратно, назначил ежедневные клизмы из колларгола, но при этом необходимо было следить за состоянием почек. Посылать мочу дважды в день в Москву было

слишком сложно, а потому Алексей Васильевич решил, что анализы можно делать здесь, и, забывши, что Булыгинский сам профессор медицинской химии, он начал обучать его элементарному анализу мочи на белок с помощью азотной кислоты. Тот молча выслушал и обещал выполнить.

Наконец наступил долгожданный перелом болезни: температура спустилась, проливные поты прекратились, больная из полубредового состояния вернулась в сознание. Булыгинский ожил, а доктор торжествовал. Но тут вдруг наступила новая беда: за долгие недели болезни больная так ослабла и так отвыкла кушать, что теперь все, что ни съедала, она почти целиком срыгивала обратно. Булыгинский опять становился мрачным и пристально спрашивал Алексея Васильевича, которому стал абсолютно верить, как же дальше быть. На это последовал ответ с непоколебимым апломбом: «Надо купить в Москве «Пептон-Реценс» и давать каждый день по три столовых ложки».

«А почему не просто белок?» — спросил Булыгинский. На это Алексей Васильевич стал объяснять, что в желудке есть пепсин и соляная кислота, а в двенадцатиперстной кишке — желчь и трипсин... И вдруг он вспомнил, кому он читает эту бессвязную лекцию по медицинской химии. И тут же, как молния, его ударило воспоминание, что неделю тому назад он обучал Булыгинского мочу исследовать на белок!!! Он запнулся на трипсине и смущенно озирался по сторонам.

Булыгинский его выручил: «Ну что ж, «Пептон-Реценс» так «Пептон-Реценс». Будем давать «Пептон-Реценс».

Послали в Москву, привезли, начали давать, и больная выздоровела, от пептона или собственными силами, но к общему удовольствию.

А Булыгинские так привыкли к Алексею Васильевичу, что когда больная уже начала вставать и выходить на террасу, то они часто посылали за ним и угощали бутылкой. «Скажите, пожалуйста, — спрашивал Булыгинский, — Вы что же, не только внутренние болезни лечите, но и детские?» — «Конечно», — отвечал А. В. «И глазные?» Тот кивнул головой. «И роды принимаете?» — «Ну, разумеется», — улыбаясь, ответил Алексей Васильевич. «Да где же Вы всему этому обучались?» — удивленно спросил Булыгинский и продолжал: «Вот, про меня говорят, что я очень строгий экзаменатор, особенно тех, кто защищает докторскую диссертацию. Но, послушайте, что же они за чепуху несут на экзаменах! Вот, нынче спрашиваю я студента, где встречается мочевая кислота. Студент сразу, как таблицу умножения, отвечает: «В мышинном поте». Я, изумленный, говорю ему: «Может быть, только откуда Вам это известно?» А тот: «Из Вашего учебника». Я подал ему свою книгу и попросил показать. Он быстро отыскал страницу и пальцем указал мне строчку. Я прочел там фразу: «Мочевая кислота постоянно находится в мышцах и в поте».

«А Вы сами-то думаете сдавать докторские экзамены?» — спросил он Алексея Васильевича. — А то Вам-то я и без экзаменов поставлю высшую отметку. — И, помолчав, с улыбкой добавил: — Хотя бы за одно истолкование действия «Пептона-Реценс».

Никольская земская больница стоит на самом шоссе, а с трех сторон ее окружает теперь новый чудесный парк Химкинского речного вокзала. Прямо против ворот больницы теперь кольцо обратного поворота московских троллейбусов. Таким образом, в настоящее время Никольская больница почти примыкает к самой Москве.

А ведь когда я в ней работал в 1915 году, то до Москвы по шоссе считалось 12 километров. Село Всехсвятское входило в наш участок.

Больничку Алексей Васильевич выстроил прелесть какую. Кирпичный главный больничный корпус для хирургических и незаразных больных. Прекрасная кирпичная амбулатория с аптекой. Кирпичная родильня на 10 коек. Деревянный барак для заразных больных, два деревянных домика для врачей по 4 комнаты плюс кухня в каждом. Дом акушерок и дом фельдшерниц. Своя электростанция и свои поля орошения. Вся усадьба была засажена березами и тополями, а садик при своем домике он окружил сплошными еловыми посадками на манер того, что он видел у Захарына в Куркине; внутри садика дорожки были сплошь обсажены кустами сирени и жасмина.

Хозяин он был очень хороший, и на административные заботы он тратил много времени, конечно, в ущерб не только самообразованию, но и лечебной работе. А последней было столько, что двум врачам можно было отдавать все свое время целиком.

В те месяцы, когда я работал в Никольской больнице в 1915 году, время Алексея Васильевича и мое тратилось еще и на объезд военных лазаретов, организованных в окрестностях больницы, но все же иногда поодаль. Так, например, в Коптеве, на даче Кунина, было человек 25—30 раненых; этот лазарет был близ станции Подмосковная Виндавской жел. дороги, на лошади мы ездили туда часа полтора. В той же стороне помещались еще два лазарета: на заводе Штейннегера и на даче Павлова (роскошной), по обе стороны моста Петербургского шоссе через Окружную железную дорогу. Ближе к больнице были расположены лазарет на Воронинском кирпичном заводе, где при раненых жила жена Алексея Васильевича — Наталия Лаврентьевна; еще лазарет был при греческом Головинском монастыре и, наконец, на великоленной даче Грачевой, при самой станции Ховрино. Операции бывали чаще всего на даче Кунина, где дамой-патронессой была belle-seure владельца — Валентина Алексеевна Дюмулен, жена известного архитектора; она любила хирургию и снабжала свой лазарет инструментами и перевязочными материалами лучшего качества в неограниченном количестве.

Ну, а в Никольской больнице — чем та выделялась, — деятельностью Алексея Васильевича, как земского врача. Заслуг у него много, неоспо-



римых. Начать с того, что благодаря образцово поставленной акушерской помощи бабы стали приезжать рожать в больницу даже с самой периферии участка, число родов в год превысило 200, а в деревнях повивальные бабки вывелись совершенно.

Во-вторых, Алексею Васильевичу в основном удалось ликвидировать бытовой и хронический **сифилис** во всем своем участке. Это было достигнуто строгим карточным учетом всех амбулаторных больных и составлением семейных карт. Все выловленные сифилитики подвергались настойчивому лечению, причем задолго до появления салварсана удавалось отчетливо залечивать самые ужасные гуммы комбинированным лечением иодистым калием и ртутной мазью. Алексей Васильевич говорил мне, что уже много лет больше не видит тех ужасных, вонючих обширных некротических язв голени, которые попадались на амбулаторном приеме в прежние годы довольно часто; те язвы, из-за которых приходилось спешно открывать все окна в ожидальном зале амбулатории, ибо других больных начинало тошнить от нестерпимой вони.

Расход иодистого калия в амбулатории достигал 10 пудов в год. Зато сифилис был ликвидирован легко и надежно. «Эх,— говорил мне Алексей Васильевич,— кабы с **туберкулезом** можно бы сделать хоть малую долю того, что с сифилисом!»

Особой гордостью своей Алексей Васильевич считал заразный барак. Я, конечно, ходил туда и должен был менять халат около каждого «бокса». При мне одновременно лежали больные с четырьмя различными острыми инфекциями, и, показывая их в одной комнате, разделенной стеклянными перегородками, Алексей Васильевич сказал, что за десять лет, как тут работает присутствующая фельдшерница Мария Иванова, еще не было ни одного случая перекрестного внутрибольничного заражения. Мало того, хотя ванны есть в каждом из больничных корпусов, но сам Алексей Васильевич ходит принимать ванну в заразный барак, ибо там чище всего. И я стал ходить мыться туда же.

Два слова о Марии Ивановне. Ценность ее заключалась в строгом надзоре за нянями, ибо посетителей, конечно, в заразный барак не допускали, им разрешали смотреть и переговариваться через стеклянные окна. Характер у нее был тяжелый, и, может быть, вследствие этого она так долго не выходила замуж. Наконец лет старше тридцати она нашла себе мужа из числа железнодорожных служащих станции Химки или Сходня. Появился и плод поздней любви — сын. И вот когда у сорокалетней матери единственный десятилетний сын был укушен собакой, то Мария Ивановна немедленно сама поехала с ним в Москву в Пастеровский институт. Прививку сделали, а затем повторяли по данным указаниям. Но, к ужасу матери и горю всей Никольской больницы, через месяц появились ясные признаки бешенства, и ребенок погиб в страшных мучениях на руках у матери, которая на своем веку выходила столько сотен чужих ей людей от всевозможных заразных болезней.

Возвращаясь к Алексею Васильевичу, хочу сказать, что в мое время он не занимался особо пристально никакой медицинской специальностью, а всем понемногу, в том числе и хирургией. Но руки у него были не особенно гибки, а движения слишком медлительны. Словом, с первых дней совместной работы он увидел, что **технически** любую операцию сделаю лучше него. Он этому ужасно радовался и расхваливал меня и за глаза, и при мне товарищам-земцам. Эти похвалы, как тогда, так и в Захарьине, конечно, меня портили, вырабатывая сомнение. Но, думается, была в этом и польза: при моем фанатическом увлечении хирургией такие похвалы заставляли меня с еще большей жадностью набрасываться на чтение серьезных книг по хирургии на русском и французском языках.

Но не только в хирургической технике Алексей Васильевич был для меня слабым учителем. И в установке показаний для операции, выборе метода для данного случая и т. п. Алексей Васильевич был не особенно силен. Я это не только понимаю теперь, но чувствовал и тогда. Видно было, что охватить всей медицины нельзя, она уже настолько специализировалась, что или заниматься заразными болезнями, детскими и акушерством, или вместо них посвятить себя хирургии, гинекологии и операциям на глазах, т. е. то, что позднее сделал Печкин.

Но у Печкина были к тому же преимущества, которых не имел Алексей Васильевич. Печкин был очень серьезный **труженик**, который не позволял себе тратить слишком много времени на разговоры, особенно не со своими товарищами — земскими врачами, а с владельцами многочисленных барских усадеб. Алексей Васильевич был любитель поговорить вообще и охотно бывал в богатых подмосковных усадьбах различных купцов, графов и князей. Его всюду принимали очень охотно и любезно, как хорошего врача и чрезвычайно интересного собеседника, намного превышающего по своему развитию уровень культурных запросов в купеческих домах. А Алексей Васильевич любил «бывать в обществе» и к тому же обожал вкусные обеды и ужины. Гастрономом он остался и позже, был «жрец», как называл его Н. И. Сахаров, от глагола жрать.

В Захарьине, позднее в Ховрине и при поездках в Москву, Алексей Васильевич всегда был «душа общества», привлекавший друзей, которые все без исключения его очень любили. А сам он, несмотря на вырывавшиеся иногда очень резкие суждения, в основном был добродушным, улыбающимся говоруном. Куря папиросу за папиросой, он развлекал окружающих его слушателей не сплетнями или пересудами, а всегда интересными и содержательными разговорами на общие или медицинские темы, запас которых был у него неисчерпаем. Умолкнуть он мог только, если садились играть в карты.

В мое время Алексей Васильевич совершенно не пил вина, никакого и ни рюмки, даже пива. Но я знаю от него самого и по рассказам его друзей, что был период, когда он пил много. Он оборвал свой алкоголизм начисто и навсегда сильнейшим усилием воли и завел вместо того

два сифона для домашнего приготовления шипучей содовой воды, коей стал выпивать литра по два в сутки.

Отвыкнуть от вина ему, видимо, помогло и другое обстоятельство: в сорокалетнем возрасте Алексей Васильевич заболел тяжелой scarlatinной, осложнившейся нефритом. Состояние его было настолько серьезно, что опасались смерти.

Он пролежал три месяца обернутым ватой, а затем его отправили на месяц в Италию, в Сан-Ремо. Полагаю, что в видах лечения нефрита необходимо было полностью отказаться от вина. Это же обстоятельство позволяет уточнить дату, когда он пить перестал, ибо отъезд Алексея Васильевича в Италию позволил оттянуть разбор дела в военном суде и тем спасти жизнь... М. В. Фрунзе, о чем я скажу ниже. Это было в 1905—1906 годах.

Не знаю, сколько лет до того Алексей Васильевич выпивал, но пил он зверски, без меры, главным образом в Москве, с приятелями, в дорожных ресторанах «Яр» и «Стрельна» — оба в Петровском парке, на Петербургском шоссе. Но в ту же пору у него завелась другая страсть — лошади. Будучи бездетным, Алексею Васильевичу даже скромного земского жалованья хватало на жизнь такую, что можно было ездить в Москву на собственной паре рысаков лучшего завода. Овес стоил тогда три рубля куль (кажется, пять пудов), его давали лошадям «без выгребу», т. е. всегда оставалось в кормушках, лошади были сытые и неслись, как ветер, обгоняя не только «выезды» московских богачей, приезжавших тоже «гулять» в загородные рестораны, но нередко и беговых лошадей, коих «проезжали» тут же, на шоссе, ибо московские «Бега» были расположены прямо напротив ресторана «Яр».

И через десять лет Алексей Васильевич не мог без волнения вспомнить пережитые восторги, когда он на своей паре «обходил» выезд какого-нибудь московского богача и кутилы и, для окончательного посрамления побежденного, слегка откланивался, поднося руку к шляпе и чуть наклоняясь вперед.

Но подобные обгоны воспринимались и переживались по пути в Москву, в уездную управу, т. е. еще до ресторана. Возвращение обратно было чаще всего в настолько хмельном виде, что являться в больницу, даже в собственный домик, было неудобно. А потому в деревне Аксиньино, что была в расстоянии версты, прямо по ту сторону шоссе, он снимал комнату в одной избе, куда его и привозил кучер; выгрузивши хозяина, он отъезжал с лошадьми в больницу.

А Алексей Васильевич в Аксиньино отсыпался, а затем наутро опохмелялся и шел в больницу уже в натуральном виде. Сюда, в Аксиньино, за ним прибегали сиделки звать на экстренную операцию или наложение щипцов при затянувшихся родах. Если же из больницы не высылали, то летом он мог погулять в чудесном липовом парке, окружавшем дом в усадьбе Овчинникова, расположенной тут же в деревне, у пруда. Сам Овчинников редко жил в усадьбе, а чаще уезжал за грани-

цу после постигших его ударов судьбы: за два года у него умерли трое детей, все три дочери, и все три от менингита (кажется, + ТБС).

Одноэтажный овчинниковский дом имел громадный зал с отличным дубовым паркетом. А гуляя вокруг дома, Алексей Васильевич слышал иногда музыки и раздраженный голос, отсчитывающий такты. Это балетмейстер Большого театра целыми часами тренировал свою дочку — Екатерину Васильевну Гельцер, которая, в трико и «пачках», носилась по пустому залу под аккомпанемент рояля и упражнялась в тех своих знаменитых «воздушных баллонах», которыми она восхищала всех московских балетоманов на протяжении свыше тридцати лет<sup>1</sup>.

\* \* \*

Хотя я уже упоминал, что Алексей Васильевич совершенно перестал пить вино возле 1905 года (и имел волю не пить абсолютно в течение целых тридцати лет до самой смерти), мне хочется добавить, что человек он был с очень сильным характером. Взгляды он вырабатывал

---

<sup>1</sup> Любопытно, что в то самое время (или очень немногими годами позже, т. е. в 1901—1902 годах) я встречал Е. В. Гельцер в доме табачного фабриканта Бостанжогло, дяди моего гимназического товарища — Коко Смирнова. Мы бегали туда смотреть двух громадных японских саламандр, будучи мальчиками лет 12—13. Кроме саламандр, плававших в аквариумах, Бостанжогло был, вероятно, первым «владельцем» Гельцер. Ее огромные портреты, в ролях, во весь рост, всюду висели в квартире.

Затем я часто встречал Екатерину Васильевну у Прова Мих. Садовского. Когда он овдовел (Люба Рославлева умерла от аппендицита в Швейцарии), Гельцер сменила свою школьную подругу. Их обоих, т. е. Прова и Гельцер, я встречал у А. Ф. Морозова, где, будучи студентом, давал уроки детям. А Морозов был женат на родной сестре Прова — Любови Михайловне Садовской. Неоднократно виделся я с Гельцер и у старухи Садовской — Ольги Осиповны, так сказать, у «сверкуви». Гельцер сейчас около 80 лет, на сцене она не появляется давно. Последний раз я видел ее в дивертисменте на прощальном бенефисе А. В. Неждановой, когда Гельцер в первой паре открывала «Полонез». Но недавно Екатерина Васильевна приезжала ко мне в клинику с большим горем: у ее родной сестры рак прямой кишки. Сделать было ничего нельзя, и, сидя у меня в кабинете, Гельцер заплакала, на ней была зеленая вязаная кофта-джерпер, на которой орден Ленина перевернулся вниз головой. У старухи был такой скорбный вид, что я решил ее отвлечь: «Екатерина Васильевна, — спросил я, — а помните Вы студента-репетитора Морозовских детей, Сергея Сергеевича?» Она быстро взглянула на меня и воскликнула: «Не может быть! Неужели это были Вы?» Вместо ответа я сказал ей, что помню ее еще в доме Бостанжогло. Тут она не выдержала: вскочила с кресла, утерла слезы, подбежала ко мне и оживленно заговорила: «А помните, какая я была тогда интересная? Скажите, хорошо помните?» Я указал ей, что в ту пору мне было еще лет 12—13 и что я еще плохо разбирался в женской красоте.

Зато теперь я немного утешил горе старухи, напомнив первый роман ее молодости.

твердые и не менял их ни в каких обстоятельствах. Но помимо убеждений, которые он себе составил и которые всегда поддерживались в атмосфере земских собраний, где передовые идеи абсолютно доминировали, жизнь заставляла иногда действовать сразу и принимать очень ответственные решения, чреватые серьезными последствиями. Такое исключительное мужество проявил Алексей Васильевич в деле М. В. Фрунзе.

В 1905 году в городе Иваново-Вознесенске революционерами был убит полицейский урядник. В числе арестованных в связи с этим убийством был и Фрунзе (который, кажется, и совершил убийство). Тем временем в Никольской больнице работала фельдшерица — то ли родственница, то ли приятельница Фрунзе. Последнему смертная казнь грозила почти неминуемо, ибо военные суды действовали соответственно объявленному «Положению о чрезвычайной охране».

Фельдшерица эта прибежала к Алексею Васильевичу и, плача, умоляла помочь спасти Фрунзе. И вот Алексею Васильевичу пришла в голову мысль вписать Фрунзе в больничный журнал как госпитального больного тем числом и месяцем, когда был убит урядник. Это должно было снять всякое обвинение с Фрунзе, ибо, находясь в Никольской больнице на койке, он не мог в тот же самый день убить урядника в городе Иваново-Вознесенске.

Риск был огромный, ибо ни Алексей Васильевич ни разу в жизни не видел Фрунзе, ни последний не видал доктора Иванова. И если Алексею Васильевичу, которому было неминуемо давать свидетельские показания на заседании военного суда, привезли и показали несколько фотографий Фрунзе, то я не уверен, что карточки Алексея Васильевича возили в тюрьму к Фрунзе. В одном нельзя сомневаться, что версию о пребывании в Никольской больнице самому Фрунзе каким-то образом сообщили, как о последнем якорю спасения.

Вписать Фрунзе надо было в журнал таким манером, чтобы любая экспертиза признала и почерк, и чернила, и очередность — словом, все. Не пришлось ли переписывать заново весь годичный госпитальный журнал?! И все это Алексей Васильевич делал для спасения человека, совершенно ему незнакомого, и еще в то время ничем особенно не знаменитого как революционера. Судьбу Фрунзе усугубить было нельзя, а вот сам Алексей Васильевич в полной мере рисковал быть привлеченным к ответственности за лжесвидетельство в военном суде. Это его не останавлило.

Трудно загадывать, какой оборот приняло бы все это дело для Алексея Васильевича, если бы он в ту пору не заболел скарлатиной и нефритом, что уложило его надолго в постель. Затем он уехал на лечение в Италию, в Сан-Ремо. Зато Фрунзе это определено спасло. Так как родные и сам Фрунзе утверждали, что он в день убийства лежал в Ни-

кольской больнице, то отказать в допросе свидетеля д-ра Иванова было невозможно. Раз пять дело Фрунзе, назначенное к слушанию, приходилось откладывать из-за неявки важнейшего, решающего свидетеля, который вместо себя присылал свидетельств о тяжелом приступе нефрита, подписанные целым консилиумом врачей. Так прошло два года. А юристы и сведущие люди советовали тянуть еще сколько удастся.

Но без конца это продолжаться не могло, и Алексею Васильевичу пришлось-таки отправиться в военный суд и там «узнавать» Фрунзе по требованию председателя, а затем давать свои «показания». Прокурор не пожалел ехидных слов, чтобы охарактеризовать показания «долгожданного, пресловутого свидетеля — вернее, лжесвидетеля»... Его перебивает Алексей Васильевич: «Господин председатель! Прошу Вас оградить меня от незаслуженных оскорблений господина прокурора». Реплика: «Свидетель Иванов! Прошу Вас не учить меня моим председательским обязанностям». Прокурор продолжает: «Кто они, эти милостивые государи, которые заодно с подсудимым и ему подобными делали или подготавливали революции и перевороты? Учителя сельских школ, агрономы, **земские врачи** и т. п.»

Но «Положение о чрезвычайной охране» было отменено, а потому смертная казнь уже не угрожала. Фрунзе был приговорен, кажется, к 10 годам ссылки в Сибирь, откуда он вскоре бежал.

\* \* \*

Прошло много лет.

Встретились мы с огромной радостью для обоих. Оказалось, что Алексей Васильевич, покончив с лазаретами, где во время войны долечивались раненые солдаты, ныне был занят организацией санаториев и чем-то вроде филиалов своей земской больницы в тех же самых или других купеческих дачах и усадьбах. Эти бывшие лазареты я все знал, ибо не раз объезжал их с Алексеем Васильевичем в 1915 году и во многих из них оперировал. Но теперь размах дела был гораздо больший: если прежде купцы уступали под лазареты свои дачки, которые были похуже, то теперь, после национализации всей недвижимой собственности, можно было бы выбирать лучшие наиболее подходящие, будь то по размерам, постройке или местоположению.

Алексей Васильевич не стал скрывать, что обо мне он часто думал, помня мой пыл и жадность в медицинской работе, но особенно нужен ему я был именно теперь, ибо в числе намеченных к развертыванию под санатории была и громадная роскошная больница в селе Куркине, выстроенная вдовой профессора Захарьина в их бывшей усадьбе, в четырех верстах от Никольской больницы. Там, в этом замечательном, новом больничном здании, надб было развертывать хирургический санаторий

«Центропленбежа», для русских пленных, возвращавшихся из Германии с незажившими ранами, криво сросшимися переломами, свищами плевры и т. п.

Новая больница и все служебные корпуса стали подлинным архитектурным украшением дивного парка. Больницу эту и до сих пор можно принимать за отличный образец.

Задача этой больницы была оказывать высококвалифицированную помощь окрестным жителям и принимать для сложных хирургических операций пациентов из соседних земских больниц, где операции либо не производились вовсе, или они не выходили за пределы «малой хирургии». В самом деле, усадьба Захарьиных находилась в центре как бы нарочно выстроенного круга: до Никольской больницы было четыре версты, до Ховринской — семь, до Черногряжской — девять, до Марино-Знаменской — семь, до Тушинской — пять, до больницы при фабрике Полякова — четыре. Врачи каждой из этих больниц могли направлять «трудные случаи» в новую больницу «имени Сергея Григорьевича Захарьина», где первоклассная операционная имела все самые совершенные приспособления для освещения, стерилизации, обогрева и т. п. и где должны были жить и работать специалисты высокого класса.

Таковы были основные пожелания Екатерины Петровны Захарьиной в ее духовном завещании. В числе намеченных ею душеприказчиков предполагался и д-р Алексей Васильевич Иванов, к которому Екатерина Петровна относилась с полным доверием.

Планировка всех больничных зданий и архитектурная часть была поручена архитектору Клейну и художнику Игорю Грабарю. Последний себе приписывает архитектурные достоинства больничных зданий. В художественных монографиях, отображающих творчество Грабаря, Захарьинская больница фигурирует и в фотографиях, и в тексте. Может быть, это и в полной мере справедливо. Только других архитектурных творений Игоря Грабаря я не знаю ни до постройки «Захарьино», ни после него, он известен как художник и как очень знающий искусствовед. Если «Захарьино» было пробой архитектурных дарований Грабаря, то она оказалась столь удачной, что можно только пожалеть, что за следующие свыше сорока лет своей жизни он к большой архитектурной постройке уже более не возвращался.

Архитектор Клейн, наоборот, уже тогда был известен как автор строившейся большой больницы имени Петра Великого на Охте в Петербурге. Проект был замечателен во всех отношениях: и с чисто медицинской, и в смысле общей планировки, и, наконец, в архитектурном. У меня сохранилась брошюра-проект, изданная Клейном с великолепными рисунками, брошюра эта была напечатана для раздачи членам городской Думы при обсуждении проекта. Я нашел эту брошюру в одном

из сараев в «Захарыине», среди прочих брошенных вещей. (Теперь эта больница в Ленинграде носит имя Мечникова.)

В том же сарае, среди старых журналов и немногих неразрезанных книжек — самых дешевых, копеечных изданий отдельных романов Гете (на немецком) и Вальтера Скотта (на английском) — я нашел роскошный альбом архитектурных творений Андреа Палладжио. И первый же беглый просмотр альбома, с великолепными рисунками и эскизными чертежами, обнаружил, что как общая архитектурная форма главного здания Захарыинской больницы, так и многие детали заимствованы или целиком скопированы у Андреа Палладжио. Центральный портик переднего фасада, центральная колоннада и балконы садового фасада, боковые крылья, даже облицовка стен, имитирующая крупные точеные натуральные камни, — все это взято из проектов Палладжио.

Мне стало понятно, что замечательные архитектурные достоинства Захарыинской больницы в большой мере обусловлены столь щедрым использованием созданий подлинного классика архитектуры. Я что-то не припоминаю других значительных построек в нашей стране, которые тоже были бы явным подражанием Андреа Палладжио. А самый стиль этот очень подходит для строительства именно крупных, солидных зданий, предназначенных под клиники, институты, университеты или музеи.

Все остальные здания Захарыинской больницы выстроены строго в стиле главного корпуса. Это — здание амбулатории, двухэтажный дом для среднего персонала, корпус, вмещающий кухню, прачечную, котельную и электростанцию, и, наконец, два чудесных коттеджа для врачей, расположенных сбоку от больничного корпуса на отдельных полянах, окруженных дивно разросшимися деревьями и кустарниками. Качество всех этих домов было отличным. Паркетные полы, двери, рамы, оконные приборы — все было первоклассное.

Алексей Васильевич намеревался сам встать во главе всего Захарыина с большим, тяжелым хозяйством (особенно топливным). Но ему нужен был не только врач-лечебник — энтузиаст, а помимо этого, молодой энергичный человек, которого можно часто посылать в Москву добывать все необходимое, т. е. продовольствие, белье, медикаменты и проч. Он считал, что я вполне пригоден для всяких надобностей. Назначение мое ординатором санатория «Захарыино» было оформлено буквально в десять минут, и мне был обещан особняк — коттедж в ста шагах от здания больницы. Я немедленно съездил оглядеться, а через несколько дней перевез туда свою семью: 23-летнюю жену, трехгодовалого сына с няней.

«Поезжайте в Москву, в «Центропленбеж», — сказал мне как-то раз Алексей Васильевич. — Найдите там некоего доктора Вейншенкера и попробуйте добыть у него для санатория папирос, валяных сапог, спичек.



Говорят, что в его распоряжении имеется даже чай и сахар, только этих вещей никому не отпускают».

Я выразил готовность ехать завтра же утром и надежду, что сумею кое-что добыть. И тогда-то Алексей Васильевич договорил мне то, что он узнал из того источника, откуда шло все это дело, а именно, что доктор Вейншенкер недаром занимает столь доверенный и ответственный пост. Он-де революционер самого сурового, беспощадно якобинского стиля. С ним надо вести себя очень осторожно, ибо «доктор Вейншенкер с посетителями по первому слову — матерно ругается, а по второму — стреляет». Причем револьвер лежит у него на письменном столе, и сам Вейншенкер то и дело этот пистолет берет и для убедительности или им помахивает в такт речи, или постукивает по столу.

Приехав на Малую Никитскую, в коншинском особняке я отыскал Вейншенкера и приблизился к нему в кабинет, чуть не расталкивая коншинских прислуг и лакеев, которые остались при доме, чтобы то ли беречь хозяйскую мебель и посуду, то ли самим зачислиться на службу новым владельцам ради продовольственных пайков.

Вейншенкер сидел один за письменным столом в комнате с роскошной стильной мебелью и коврами. Он читал какие-то бумаги и даже головы не поднял при моем приближении. Так и продолжалось: он сидел, читая бумаги, а я молча стоял напротив, в полушубке, валенках, с ушанкой на голове. Минут через пять неслышно вошел лакей в черном смокинге и принес на серебряном художественном подносе саксонский фарфоровый кофейник, такую же чашку и сливочник. Вейншенкер медленно протянул руку к чашке, а лакей налил дымящийся ароматный кофе и, поставив весь поднос на письменный стол, так же бесшумно вышел. Когда Вейншенкер выпил одну чашку кофе и стал наливать вторую, он как бы впервые меня увидел и небрежно спросил, кто я и что мне нужно.

Я ответил, что я врач из «Захарьино», что у нас лечится много бывших пленных, что мы ждем нового поступления и нуждаемся в валенках, папиросах и т. д. Он еле выслушал и, ничего не ответив, продолжал читать свои бумаги, а я продолжал стоять.

Наконец, меня взорвало, и, забыв предостережения Алексея Васильевича о «стрельбе», я прервал его чтение примерно следующей фразой: «Меня предупреждали, что Вы очень сухой и суровый человек. Но я вижу, что Вы — просто грубый и невоспитанный». Вейншенкер остолбенел, услышав мои слова, но я не дал ему открыть рта и продолжал: «Вы тут в барских хоромах кофе пьете из мейсенского сервиза и не только не думаете предложить чашку тоже **врачу**, приехавшему незнамо каким транспортом, в мороз, вставши за много часов до рассвета, но Вы даже не предложили мне сесть, и я должен стоять перед Вами долго, как виноватый».

Он до того смутился, что не только пододвинул мне тяжелое кресло-полудиван, но подбежал к двери и, открывши ее, пронзительно крикнул: «Вторую чашку принесите».

И через пять минут я понял, что крупное сражение мною выиграно с такими трофеями, о которых ни мне, ни Алексею Васильевичу во сне не снилось. Конечно, дело не в одной неожиданности, с которой я атаковал Вейншенкера **первым**. Важнее было то, что ожидался большой транспорт наших пленных из Германии, причем справедливо предполагалось, что чем дальше, тем все больше будет тяжелобольных и незалеченных гноящихся переломов. И, взявши книжку с отрывными ордерами и готовясь вписывать то, что он думал нам отпустить, Вейншенкер предупредил меня со строгим лицом, что выдаст он много, но чтобы мы-то готовились принять новую большую партию тяжелобольных пленнх.

Штатных мест в «Захарьино» было 80, мы считали 100. Вейншенкер счел, что, стало быть, можно вместить 200, а потому когда я начал диктовать наши требования, то вместо ста пар валяных сапог он сказал: «Двести, ну да еще для дворников, кучеров, истопников...» — и вписал в ордер 250 пар валенок.

Папирос мы думали просить 10 тысяч штук, он сам вписал 20000. И раньше чем я успел просить следующее, Вейншенкер сказал: «У нас много хороших трофейных австрийских галет, их я могу отпустить много». Я не знал, что означает «много», но увидел, что он вписал цифру 20 пудов. Ну, а раз дело шло столь замечательно и перешло на пуды, то я, вспомнив про цейлонский чай, смело произнес: «Чая цейлонского — пять пудов». Вейншенкер поднял на меня глаза и, пристально посмотрев, спросил: «Куда Вам столько?» На что я авторитетно, будучи сам в каком-то трансе, твердо ответил: «В самый раз». И... Вейншенкер вписал 5 пудов чаю. Я чуть было не погубил все дело, когда вслед за этим попросил 10 пудов сахара, ибо Вейншенкер снова глянул на меня, сказал: «Уж раз чая пять пудов, то сахару надо не меньше двадцати», — и вписал 20 пудов, хотя для правильной пропорции к чаю надо было, вероятно, не 200, а 1000 пудов сахара.

Когда я, поблагодарив, стал прощаться, то Вейншенкер спросил меня, как бы мельком, еле процеживая слова сквозь зубы, хорош ли наш санаторий, какова местность и природа и приезжают ли к нам высшие начальствующие лица. Узнавши, что санаторий и парк чудесные, он заявил, что сам заедет поглядеть, а что завтра же отправит к нам свою секретаршу, «которую надо принять и устроить на отдых самым лучшим образом», ибо, добавил он, «это не просто работник, а — Голова».

Я пообещал принять его секретаршу по высшему разряду, а он задержал меня и, медленно вынув из стола другую книжку, что-то вписал и, оторвав бланк, передавая его мне, указал адрес другого «литерного»

склада. В ордере значилось несколько балыков, икра, голландские сыры и шоколад «Гала-Петер». Я понял, что это все должно пойти на секретаршу, на прием начальства и на случай приезда к нам самого Вейншенкера.

Он действительно один раз приезжал поглядеть санаторий и навестить свою секретаршу. Последняя оказалась не только «голова», а актриса Театра Евгения Вахтангова и хорошей подругой юности моей жены, они прежде долго жили обе в Ялте, и теперь их встреча была не только неожиданной, но и приятной обоим. Впоследствии мне довелось выручить ее два раза из больших бед: в тридцатых годах я оперировал ее по поводу гнойного плеврита, а в конце Отечественной войны по поводу рака грудной железы, оба раза — удачно.

Что же касается д-ра Вейншенкера, то с ним мы больше не встречались. Говорили, что он тогда же, т. е. в 1919—1920 году, сначала «командировал» за границу свою жену и дочь, а спустя некоторое время сам очутился в Чикаго, используя средства и возможности «Центропланбежа» с наилучшей выгодой для себя.

Нужно ли говорить, какой фурор произвели привезенные мной ордера на Алексея Васильевича и всех остальных сотрудников «Захарьино». Вывезти все со складов и в целости доставить в санаторий было тоже задачей сложной, ибо продолжительная разруха в стране достигла очень серьезных степеней, перевозить такие сокровища значило подвергать возчиков большому соблазну. Равным образом и на шоссе, особенно на нашем, куркинском, обоз мог легко стать предметом нападения крестьян, давно уже забывших вкус и чая и сахара.

Зато когда все было благополучно доставлено в «Захарьино», то судьба всех нас сразу переменилась. Дело в том, что отапливать все корпуса из единственной центральной котельной было почти уже нечем, подходили к концу бревна старого захарьинского дома. Больше половины зимы еще было впереди, и со дня на день надо было выпускать воду из батарей главного корпуса, где находилось около ста больных.

Дрова нам были отпущены, но в районе станции Фирсановка, т. е. километров 20—25 от нас. В обычное время крестьяне зимой охотно возили бы дрова по нормальной расценке за выложенную сажень. Теперь деньги не стоили ничего: картошка и сено расценивались не на миллионы рублей, а уже на миллиарды. Поэтому все попытки Алексея Васильевича уговорить куркинских мужиков возить дрова встречали глухой, но упорный отказ. Не помогло и посредничество куркинского попа, которого Алексей Васильевич зазвал к себе и, хорошенько угостив, усадил сыграть в преферанс. С общим ухудшением экономической ситуации авторитет попа, безусловно, не возрастал, а падал. Зато теперь, когда в распоряжении Алексея Васильевича было пять пудов настоящего цейлонского чая и весь «осьмушками», в упаковке развесочной

«С. В. Перлова», то переговоры с куркинскими крестьянами пошли совсем иначе.

Почем мужики расценивали перевозку и выкладку дров на цейлонский чай и кто кого в этом деле прижал — я, конечно, не знаю. Жалел я очень, что 20 тысяч папирос «Трезвон» совсем не шли в качестве валюты, и не потому, что на каждой пачке стояла печатная расценка «20 шт. 3 коп.», а потому, что крестьяне вообще отказывались от папирос и требовали взамен махорки.

Зато цейлонский чай имел громадный успех. Число саней-розвальней ежедневно увеличивалось, и дело доходило даже до пререканий с крестьянами других деревень, пожелавших тоже заработать чая. Куркинские мужики решительно возражали, гарантируя вывоз дров быстро одними своими лошадьми.

Три зимы подряд доставка дров оплачивалась только чаем. Это гарантировало жизнь санатория в наиболее трудной части.

\* \* \*

Что касается до медицинских задач, то хотя название его было четко сформулировано на бланках — «Хирургический санаторий «Захарьино» и таковым он числился в Санаторном отделе Мосздрави, тем не менее никто не мог вполне ясно сформулировать эти задачи и точно указать на специальный контингент больных, которые были бы хирургическими, но нуждались именно в санатории, а не больнице. А вопрос этот был очень важным, ибо, с одной стороны, до окончательного выяснения «профиля учреждения» невозможно было соблазнить сюда на работу достаточно крупного хирурга, с другой стороны — отсутствие четких медицинских показаний для отбора **хирургических** больных позволяло терапевтам-туберкулезникам делать порой интересные демарши, чтобы отнять «Захарьино» под легочных больных. Среди этих терапевтов-оппозиционеров были такие известные специалисты, как проф. Виктор Александрович Воробьев, Семен Михайлович Швейцар, Вольф Семенович Хольцман, и многие другие. Хотя в их ведении было много санаториев, но, конечно, ни один не шел в сравнение с «Захарьином», особенно терапевты цеплялись за идеально оборудованную искусственную вентиляцию главного корпуса и дивные еловые посадки, столь нужные чахоточным.

Хирургические интересы отстаивались тоже энергично. Алексей Васильевич, главный врач, был целиком за хирургию. Про меня и говорить нечего. Но, по счастью, в те годы весь Санаторный отдел Мосздрави возглавлял Александр Николаевич Меркулов — хирург с порядочным стажем и опытом. До войны он был хирургом губернской больницы в Екатеринославе (Днепропетровске), а затем на паровозном заводе

в Коломне. Почему в то время (ему было около 50 лет) он отошел от практической хирургии и занялся административно-организационными задачами, я не знаю, мне лично это совершенно непонятно. Но, присутствуя на многих диспутах о судьбе «Захарыина» под его председательством, я неизменно видел, что хирургию он любит как собственную специальность и отстаивает ее горячо. Но было и главное обстоятельство, определившее хирургический профиль нашего санатория: он был в ведении «Центропленбежа», а среди возвращавшихся из германского плена было немало раненых с застарелыми эмпиэмами плевры, обширными хроническими нагноениями огнестрельных переломов, ложными суставами, контрактурами и т. п. Такими больными на первых порах удалось заполнить половину числа коек. Еще часть коек заполнялась местными крестьянами, нуждавшимися в операциях. Наконец, некоторое число мест занимали больные, которых присылал из Москвы доктор Николай Константинович Холин — старший хирург Старо-Екатерининской больницы, который был дружен с Алексеем Васильевичем и который в первый год открытия санатория числился у нас консультантом.

Выше я упоминал, что ввиду неопределенности профиля нашего учреждения никто из хороших хирургов не ехал сюда на постоянную работу. И хотя я развернул очень интенсивную лечебную деятельность и много оперировал вполне удачно, нельзя же было мириться на мне как единственной, а тем более ответственной хирургической кандидатуре. Мой стаж был — три года войны и год в госпитале в Туле.

Не стану повторять уже описанной истории с добычей топлива для своего санатория, вернее, транспортных средств для вывоза дров из Фирсановки. Полученные в «Центропленбеже» от д-ра Вейншенкера 5 пудов чаю явились той реальной валютой, за которую куркинские крестьяне возили дрова охотно. Этим решился главный вопрос нашего существования.

Но продовольственный вопрос оставался очень острым. Никто не мог загадывать, что ждало страну и каждого из нас в ближайшие месяцы. Хотя из числа полученных в «Центропленбеже» продуктов служащим полагалось получать паек (ведь кроме снабжения не было ниоткуда), однако я получал всего один паек на всю мою семью, т. е. жену, сына, няню и себя, и нам, конечно, не хватало.

Главная надежда была на корову, которую я пригнал с собой, вместе с домашними вещами. Корова была чудесная — огромная симменталка, купленная у дяди Наталии Владимировны, Сергея Федоровича Занфтлебена, еще в бытность нашу в Туле. Но с кормом для коровы дело обстояло очень плохо, почти катастрофично. Крестьяне или не имели продажного сена, или придерживали его до времени, когда за него можно будет получить цену и более высокую, и в реальной меновой ценности.

Я ходил по избам в Куркине и в двух-трех соседних деревнях, предлагая женины платья и свои охотничьи и военные сапоги в обмен на сено. Но крестьяне прижимали так, что я не решался отдать наиболее ходкие обменные фонды за сено или прошлогоднее, полугнилое, или нынешнее, но второго покоса, да еще наполовину осоку. Как мы перебились первую зиму, я просто сам не пойму, ибо куркинский кулак — спекулянт Порядочнов — еще с ранней зимы понял, что и я, и Наталия Владимировна совсем не привыкли к торговым обменам и что у нас ему немудрено вымогать все, что есть в нашем доме. За хорошее дамское платье или большие бархатные шторы он давал сена меньше, чем на неделю. Зато и удои молока были просто ничтожны, даже после отела.

Никогда в жизни я не ждал весны с таким нетерпением, чтобы выпустить корову на подножный корм. И в гимназические годы, и в пору студенчества, бывало, считаешь оставшиеся дни до прилета вальдшнепов. Я ждал их и в тот год, пересчитывая немногочисленные дробовые патроны, пополнить запас которых не предвиделось возможности. При встречах на дворе мы обменивались догадками о начале весенней охоты с бухгалтером Шульманом, который себя считал опытным охотником. «*Oculi da kommen Sie*», — цитировал он с надоедливой привычкой первую строчку немецкой поговорки, вычитанной им в главе о вальдшнепах в известном издании «Жизни животных» А. Брэма. Это обозначало время прилета вальдшнепов (разумеется, в Германии) по церковному, вероятно, лютеранскому календарю.

Бухгалтер он был неважный, и Алексей Васильевич его недолюбливал, мирясь на нем, во-первых, потому, что он зять (или шурин) Н. Н. Печкина, во-вторых, у него трое сыновей-подростков, и потому, что в переживаемое время перемещать и увольнять семейных людей было нельзя. А будучи раздраженным на Шульмана за бухгалтерские промахи или непорядки в отчетностях, Алексей Васильевич выражал свое неудовольствие и жаловался мне, обзывая его иронически «*Oculi da kommen Sie*».

Наконец прилетели вальдшнепы, и каждый вечер я стал ходить на тягу за «Соколово», надеясь убитым вальдшнепом полакомить свою любимую, совсем молодую Наталию Владимировну. Я убивал иногда, но все же редко, а в лучший вечер, в Благовещенье (25 марта ст. ст.), когда был валовый пролет, у меня случилась неудача: безнадежно застрял разбухший картонный патрон, и ружье не закрывалось, ни вытащить обратно, ни выбить патрон через ствол было нечем. И я беспомощно стоял и с замирающим сердцем смотрел, как мимо меня, в хорошем расстоянии для стрельбы, протянуло штук десять или двенадцать вальдшнепов, раза два даже парами и тройками. В тот вечер я убил бы штуки три или четыре.

До места тяги от нашего дома было версты три, и я каждый вечер отправлялся загодя, чтобы по дороге насладиться всегда радостным весенним пробуждением природы. Солнце спускалось к розовому горизонту, а лучи его косо скользили по весенним лужицам, корням деревьев и первым росткам молодой зеленой травки. Но, кроме этого, вдоль всей дороги мне попадалась масса лягушек, пробудившихся от зимней спячки и повывезавших на дорогу для свадебных игр. Их было так много, что мне пришла в голову мысль, что если приготовить их по парижскому обычаю для еды, то можно, вероятно, насытиться великолепным кулинарным блюдом. Поэтому на следующий день, отправляясь на тягу, я вышел на полчас раньше и захватил с собой пустой холщовый мешок из-под картошки.

И действительно, я быстро набрал почти полмешка лягушек, с которыми и вернулся в темноте домой взамен неудачной тяги. Жене я сказал, что принес лягушек, на что она немного поморщилась, но, как всегда, без малейшего жеманства. Но она резонно указала мне, что религиозная старуха — няня Дарья (она раньше была няней у знаменитых певцов Медеи Фигнер и ее мужа, тоже Фигнер, затем она выходила мою жену, а теперь ее сына, нашего Сергея) — ни за что не станет ни чистить, ни жарить лягушек. Конечно, так и оказалось, няня решительно отказалась даже глядеть на лягушек и заявила, что она ни за что не даст поганить ими кастрюлю и сковородки. Тогда я взял в столовом буфете фаянсовую суповую миску и с ней отправился в куртину деревьев и кустов для массовой экзекуции.

В пищу пригодны только задние ножки, а потому я брал за них каждую лягушку, которые при этом сразу вытягивались в длину. А тогда я клал их на древесный пень и отрубал задние лапки по тазу косарем. И тотчас одним рывком я сдергивал лягушину шкурку с окорочков, лапок и пальцев, как лайковую перчатку. Словом, дело шло легко и быстро, и через полчаса взамен полмешка лягушек я принес домой целую суповую миску лягушиных окорочков.

Но няня Дарья отказывалась поджарить даже эти очищенные лапки с белым мясом, как у цыпленка. Она даже ушла в парк, забрав, конечно, Сергея. Наталия Владимировна вообще плохо знала кулинарию и очень обрадовалась моей мысли пригласить для жарева санитарную сестру-хозяйку латышку Анну Михайловну. А когда я ходил за ней, то встретил Алексея Васильевича, который, узнавши о моей затее, сам напросился в дегустаторы.

Для услаждения Алексея Васильевича, предвкушавшего деликатес, Анна Михайловна сбегала на больничную кухню и принесла ложку коровьего масла и просеянных белых сухарей. Но когда она на шипевшую сковороду бросила первую полную горсть лягушиных лапок, то случилось нечто неожиданное и довольно страшное: тонкие сухожилия, идущие

щие к лягушиным пальцам, начали быстро сжиматься в горячем масле, и вся масса лягушиных ножек начала двигаться, извиваться и даже под прыгивать на сковороде, а длинные пальцы сгибались, как живые, и хватали воздух во всех направлениях. Зрелище было настолько необычайное и неожиданное, что даже мне самому было неприятно, а Анна Михайловна вся побледнела и запаталась. Она было попробовала помешать на сковороде кухонным ножом, но от этого лягушине лапки заворочались и запрыгали еще энергичней, она вскрикнула и убежала из кухни.

Жарить остальных пришлось мне самому. Впрочем, через минуту Анна Михайловна вернулась, держа под руку за Алексея Васильевича, за ними пришла и Наталия Владимировна. А тем временем лапки на сковороде поуспокоились и аппетитно шипели в масле. Их посыпали сахарным порошком, и все отправились на террасу пробовать небывалое блюдо.

Конечно, мясо было нежное, белое. Но все же его было на каждой лапке так мало, что приходилось лущить их как подсолнечные семечки. Алексей Васильевич объедался и все время приговаривал: «Ах, как вкусно, вот наслаждение» — и просил меня набрать лягушек опять и вновь пригласить его.

Я сделал ему это удовольствие, но решил провести рационализацию самой заготовки. Зачем мне брать большой мешок и таскать в оба конца (на тягу и обратно) целых лягушек, когда нужны одни задние лапки? И вечером я взял у жены небольшой мешок — наволочку от маленькой подушки и большие перевязочные ножницы из больницы. Идя по дороге на тягу, я нагибался, подбирая лягушек, и тотчас же отрезал у них задние лапки, кои и складывал в мешочек.

Но мне и в голову не могло прийти, что получится. Через полчаса после меня по той же дороге на тягу шел бухгалтер Шульман, и вдруг он видит, что на дорожке сидит лягушка с одними передними ногами, не веря своим глазам и полагая, что ему это померещилось, Шульман пошел дальше, но через сто шагов он вновь увидел на дороге лягушку и опять с одними передними лапами. Он протер глаза и опять пошел дальше, но через несколько шагов ему снова померещилось, на этот раз сразу две лягушки, и обе без задних лапок. Шульман подумал, что у него галлюцинации и не сходит он ли с ума. А когда, вернувшись после тяги, он дома стал рассказывать столь невероятные вещи, то все слушавшие готовы были принять за шутку или особый охотничий рассказ неправдоподобные утверждения бухгалтера, что либо от мороза, либо от какой-то болезни у всех лягушек в этом году отвалились задние лапки.

На следующий день в санатории почти одновременно узнали и о том, что Шульман видел в лесу массу двуногих лягушек и что



у Юдиных жарят и едят лягушьи лапки. Это вызвало общий хохот и веселье.

А солнце и весна делали свое дело, и наконец корову можно стало выгонять пастись. Затем я договорился и с куркинскими крестьянами и пастухом и стал гонять свою корову в общее стадо. Но к этому времени няня Дарья уехала к себе в деревню, под Тулу, и мне пришлось взять на себя целиком и дойку коровы, и выгон ее в стадо. Это означало встать на рассвете, пойти в коровник и подоить корову, а затем выгнать ее в стадо у деревни. Далее, днем среди перевязок или операций я должен был прервать работу, пойти домой, взять ведро и спешить «на полдни» в стадо, а подоивши корову и занеся ведро домой, вернуться опять на работу в хирургическое отделение. Наконец, вечером надо было стадо встретить и, загнавши корову в сарай, в третий раз ее подоить. Так каждый день.

Молока было много, ибо корма стали отличные, а корова была хорошая. Но просыпаться в 3 часа утра я не мог, а потому досиживался с вечера до выгона коровы в стадо и ложился спать только после этого.

В июньские короткие ночи это было еще посильно, и я добросовестно сидел за книгами с 10 вечера до 3 утра. Но уже в июле рассвет и выгон стада стал в 3½ часа, а в августе в 4½ и т. д. И я засиживался все ночи за чтением медицинских книг, а когда голова начинала работать хуже, то брался за перевод с немецкого, дабы выучить получше язык, в котором я знал лишь разговорную речь по гимназическому курсу и по трехмесячной моей ссылке в Ригу в 1905 году.

Мне надо было заново выучивать всю специальную медицинскую и хирургическую терминологию на немецком языке. Я пользовался двухтомным немецко-русским словарем Павловского и с его помощью перевел всю книгу Барденхеуэра о лечении переломов липкопластырным вытяжением. Работа была большая, ибо книга была страниц более четырехсот. Литературная отделка перевода не была достаточной, зато немецкий язык я изучил так, что с тех пор хирургические книги и журналы на немецком языке я читаю, как по-русски или французски. Этого я добился в течение 3—4 летних месяцев, когда вынужден был ждать выгона коровы сначала до 3 утра, а потом до 4 и пяти. Я, конечно, утомлялся и часто «клевал носом», но досиживал, пока не пора было идти доить и выгонять корову. Теперь я, пожалуй, не смог бы так интенсивно и подолгу работать за книгами каждую ночь подряд. Но тогда мне это как-то давалось без особых усилий воли.

Но с покосом моим получилось совсем худо. Я ведь не мог косить с утра часами, как крестьяне, особенно не спавши ночи за книгами в ожидании выгона коровы. А урывками я накашивал мало, и каждый раз мое сено попадало под дожди и так чернело и портилось, что я был просто в отчаянии. Особенно жаль было полной гибели того клевера,

который рос на открытом спуске горы к речке перед главным зданием санатория. Клевер был в полном цвету, когда я его скосил, но он трижды попадал под грозы раньше, чем я смог его убрать, и так весь перегнил, что его целиком пришлось бросить на месте<sup>1</sup>. Все мои старания закупить сено у крестьян еще летом сталкивались с решительным отказом. Они прямо говорили: «Пока на своих скотин не уберем сена с запасом, ни воза не продадим, да и после этого — не рассчитывай, мы его до весны попридержим».

Когда цвели липы, то мне пришла мысль нарезать и засушить веники из липы в полном цвету, может быть, корова их станет есть зимой с голода? Полоса липовых деревьев имелась прямо против террасы нашего дома. Я взлезал на деревья и спиливал ампутационной пилой отдельные большие ветки. Они падали на землю, а там Наталия Владимировна делала из них веники, связывая каждый свежим лычком с тех же липовых веток.

Запах цветущей липы очень приятный, и все его любят. Но если нюхать его долгими часами, несколько дней подряд, то этот сладковатый аромат не только надоедает, но становится противным и наконец вызывает головные боли. А так как Наталия Владимировна связывала, сушила и переносила липовые веники на чердак нашего домика даже тогда, когда я уходил в больницу, то этот запах липового цвета до того ей наскучил и намучил ее, что она с тех пор много лет не любила цветения лип, где бы с ним ни приходилось встретиться.

Мне понятна эта нажитая идиосинкразия, ибо и у меня со времени захарьинской голодовки на весь остаток жизни выработалось отвращение к пшенной каше и брюкве — нашей единственной тогдашней пище после убийства коровы.

Да, настал момент, когда иного было делать нечего, зима, сена нет, менять тоже не на что, ибо все, что крестьянам гоже, Порядочнов перетаскал от нас еще в прошлую зиму. Липовых веников корова есть не стала, и она так отошала, что, отбросивши вес шкуры и кишок, мяса с костями и ливером оказалось шесть пудов, это от бывлой громадной красавицы симменталки; бывшей украшением всего стада.

Долго ни у меня, ни у Наталии Владимировны духа не хватало ликвидировать свою «Красаву», все еще надеялись где-нибудь и на что-нибудь добыть сена. Наконец, я взял свое охотничье ружье и медвежий патрон с разрывной пулей жакан. Наталия Владимировна видела, как я вышел с ружьем, догадалась о моем намерении и с трепетом ждала звука выстрела в стороне коровника.

Вернувшись домой, я застал ее в слезах, что бывало очень редко.

---

<sup>1</sup> «Бог посылает дождь мужику не тогда, когда он просит, а когда он косит».

Несмотря на то, что в семье своей матери Наталия Владимировна была довольно избалована, т. е. не знала ни нужды и ни в чем отказа, она удивительно стойко и мужественно переносила все невзгоды тогдашней суровой жизни в Захарыине. Я ни разу не слышал от нее ни жалобы, ни сетований на житейские трудности и все более грозно надвигавшийся голод.

Я говорил, как она заготавливала и перетаскала на чердак 450 больших липовых веников. Еще больше труда и усердия она вкладывала в наш огород.

Задни нашего домика имелась поляна шагов 60 в длину и шагов 40 в ширину. Я выкопал на ней огород и сделал восемь или десять больших гряд, на которых посадил картошку, огурцы, брюкву и помидоры. Земля там была чистая глина, влажная, тяжелая, ибо, окруженная со всех сторон высокими деревьями, поляна эта плохо проветривалась. Коровьего навоза было слишком мало на всю вскопанную площадь, а потому на плохой тяжелой глине наш урожай в первый год получился очень маленький.

Но голод был большой, а потому я обдумывал все возможные меры к тому, чтобы на следующее лето собрать урожай получше. Коровы уже не было, стало быть, и навозу тоже. Я упросил кучера Матвея подбросить мне без ведома завхоза немного конского навоза от санаторных лошадей. А так как самого Матвея я дважды лечил в кучерской от тифов — сыпного и возвратного, то он ко мне чувствовал благодарность, и как-то однажды ночью привез мне на огород целый большой воз дивного конского навоза.

Это обеспечивало урожай, ибо прошлогодний опыт выучил нас с Наталией Владимировной своевременной прополке и мотыженью. Кроме того, я достал две старых кадки, которые поставил у начала гряд, а сюда удалось дотянуть резиновые клистирные трубки, взятые из запасов аптеки, по ним вода шла от крана из кухни. В прошлом году Наталия Владимировна ежедневно на себе таскала из кухни 200—250 ведер воды, теперь поливку можно было делать, черпая лейками из кадок в самом огороде.

Но хотя Матвей и привез воз навозу, но последний весь ушел под глину, в глубину, а сверху была по-прежнему красная глина. И вот, увидавши внизу оврага, у берега Сходни, что кроты выбрасывают чудесную черноземную рыхлую почву, я решил натаскать такой земли снизу на гряды в свой огород. Позднее, в Серпухове, самому плохо верилось, что мне могла прийти фантазия на себе таскать землю в крупную гору, и носить ее на расстояние по крайней мере шагов 500—600, даже больше. А тем более было нелепо звать на помощь жену, которая сразу, безропотно пошла со мной и тоже таскала на себе черную землю, сколько хватало сил.

Зато по мере того как теперь, в ухоженном огороде, овощи, картошка и помидоры распускались все пышнее, старания и даже увлечение Наталии Владимировны усиливались. Она буквально целыми днями, пока я был в больнице, полола, мотыжила, поливала и прищипывала лишние черенки на помидорах. Маленький Сергей около нее ходил между грядками. Придет Н. А. Касаткин посидеть и побеседовать, придет Алексей Васильевич и молча курит, курит папиросу за папиросой, он обожал и Наталию Владимировну, и Сергея, разумеется, взаимно. Придет Поэт — доктор Сергей Михайлович Беляев и позовет Наталию Владимировну и Алексея Васильевича посидеть на нашей террасе, где он им прочтет окончание своей поэмы «Мавруша» — из жизни лазарета с ранеными солдатами. Угощать ей их нечем, кроме морковного чая с каплями сахара и австрийских галет. Но чудная ясная погода, уютная терраса с видом на изумительный захарьинский парк и очаровательная юная хозяйка с чудным характером и всегда приветливой улыбкой с лихвой покрывали нехватку вкусного угощения к чаю.

В одно из таких посещений Беляев принес листочек бумаги и прочитал посвященные Наталии Владимировне стихи, написанные под стиль тягучих, несколько тяжеловатых рифм торжественной оды. И читал он их пониженным басом, нараспев:

«Когда морозом разрисует все окна комнаты твоей,  
И ветер жалобно завоет средь чащи темных ветвей,  
И улетят певунии птички на лето в теплые края,  
И станешь ты листать страницы, уютно сидя у огня,

И утомленная тем чтением начнешь тихонько засыпать,—  
Хотелось мне тогда виденьем к тебе, на миг хотя, слетать.  
И пусть опять тогда воскреснет в душе твоей неясный след:  
Как знойным летом на террасе тебе стихи читал Поэт».

Она действительно была очень мила и интересна. Ее безукоризненное воспитание оформляло незаметным образом те врожденные личные качества — исключительную мягкость характера и открытую ясность души, — которыми она неизменно привлекала симпатии всех, кто бывал у нас в доме. Всегда приветливая, гостеприимная, она не только внимательно и с интересом слушала разговоры и рассказы старших — Алексея Васильевича, Н. И. Сахарова, В. А. Ржевского, Н. А. Касаткина, — ко-

торые очень любили ее навещать и часами сидели с ней на террасе, но она сама была очень интересной собеседницей. Ее многочисленные встречи с Л. Н. Толстым, воспоминания о Горьком в Ялте, масса интересных знакомств за границей, в Швейцарии и Париже, месяцы плена в Германии и возвращение через Швецию — все это было очень интересно для ее гостей.

Ко мне она относилась очень искренне и тепло. Она твердо верила в то, что в выборе медицинской карьеры и хирургической специальности я не ошибся и что своим энтузиазмом я добьюсь конечных успехов. Ее женская привязанность ко мне была прочной, глубокой, беззаветной. Я это чувствовал во всем, непрестанно и был счастлив так, как только может быть счастлив человек в 27—28 лет, нашедший подругу жизни, лучше которой он себе и в мыслях не рисует.

«Юные годы — веселые дни!

Как вешние воды, промчались они»...

Тогда нашему сыну Сергею было три года. Теперь нашей внучке Галине — двенадцатый год. О, пусть же она окажется настоящим, достойным утешением тебе, моя родная, твоему большому сердцу, застигнутому неожиданным горем...

10.VI.49

Возвращаясь к бытовой стороне нашей жизни в Захарьине, упомяну про те операции товарообмена, на которые мы пробовали несколько раз решаться с Наталией Владимировной и которые всегда доказывали и лишний раз напоминали, что оба мы не родились коммерсантами.

Урожай на своем огороде в последнее лето мы вырастили большой. С двухсот кустов помидоров Наталия Владимировна собрала, кажется, больше десяти пудов зрелых томатов. Мы ели их осенью во всех видах, а кроме того, посолили в бочке пудов пять. Но когда пришло время переезжать в Серпухов, то везти, помимо всей мебели и библиотеки, еще бочку соленых помидоров мне как-то не улыбалось. Но и бросать их тоже было жаль. Торговать мы не умели, а Порядочнов в наших обстоятельствах или не дал бы ничего, или на смех предложил бы гнилого сена, зная, что теперь оно нам не нужно.

Тем временем в санатории случилось происшествие. Отпущенный нам для больных детей рыбий жир из Москвы прислали в бочке из-под керосина. Пудов десять ценного продукта и лекарства были погублены непоправимо

А в числе многочисленных прочих хозяйственных кризисов в стране остро не хватало мыла для стирки, не говоря уже про туалетное. Я взял однажды в аптеке едкого натрия и сварил мыло из рыбьего жира, испорченного керосином. Мыло изрядно воняло и тем, и другим из отвратительных запахов и даже передавало этот дух выстиранному бе-

лю и носовым платкам. Но мыльные свойства его были удовлетворительными. Вот почему перед отъездом в Серпухов я предложил хозяйственнику санатория Пташинскому взять у меня бочку соленых томатов и дать мне взамен рыбий жир. Он согласился и отлил для меня фунтов двадцать в два жестяных бидона, которые удалось отыскать.

Так мы и приехали в Серпухов с запасом жиров для мыловарения. Через несколько месяцев, познакомившись и подружившись с директором красиво-отделочной фабрики А. Б. Гильманом, я попросил у него одолжить мне едкого натрия или калия. А когда он узнал, для чего мне это нужно, он любезно предложил произвести всю варку в лабораториях его фабрики.

Я поблагодарил и отослал ему весь рыбий жир. Однако через несколько дней Гильман прислал мне несколько брусков очень хорошего хозяйственного мыла, сваренного у них же на фабрике, но только из других жиров, не столь нестерпимо вонючих. А захарьинский рыбий жир пошел для целей смазки в смеси с машинными маслами.

Итак, в данном случае мы сменяли «плоды земли» на технические продукты. Во втором случае наша обменная операция имела противоположный характер, а именно: чудный дамский велосипед Наталии Владимировны мы выменяли поповой дочке на будущий урожай малины, вишни и черной смородины в саду куркинского попа.

Велосипед этот был куплен в Париже, когда Наталии Владимировне было лет 15—16. Там она на нем каталась, а потом привезла с собой в Россию. Велосипед был с дамской рамой, т. е. под юбку, а по величине недомерок. Мне на нем ездить было очень трудно, ибо, даже поднявши седло и руль, сколько позволяла длина выдвигаемых трубок, я ездил со всегда согнутыми коленками. Не говоря про то, какой был вид — велосипед дамский, маленький, с предельно поднятым седлом и рулем, а на нем ездит мужчина, роста выше среднего, с нераспрямыми коленями и быстро-быстро крутя ногами, — ездить так в дальние концы было очень утомительно.

Однако с внешним видом я не считался вовсе — не такое было время, а ездил на этом велосипеде в Москву, в самый центр, и притом каждый день целый месяц. Я взял отпуск в санатории специально для работы в Центральной медицинской библиотеке, изучая и реферируя все работы по спинномозговой анестезии для своей диссертации, каковую написал и издал уже в Серпухове. Но подавляющее количество литературы я прочел и записал при поездках из Захарьина.

Библиотека помещалась тогда в здании бывшего банка, позади цветочного магазина Ноева на Петровке, прямо против Столешникова переулка. Она открывалась в 11 часов утра, и я приезжал из Захарьина на велосипеде точно к открытию. Книжки и тетради, оставленные накануне, лежали на моем столике.

Я работал, абсолютно не отвлекаясь, часов до пяти, а затем выходил что-нибудь поесть (не помню куда) на полчаса. После этого я вновь шел читать и записывать часов до 8-ми или 8.30. Затем садился на велосипед и по вечерней прохладе, но засветло возвращался домой, в Захарьино. Этот месячный отпуск я использовал чрезвычайно плодотворно: тут был заложен главный фундамент моей книги, за которую была выдана первая премия имени Ф. А. Рейна. А эта премия обеспечила мне поездку в Америку.

Расстаться с велосипедом после окончания отпуска меня толкало то обстоятельство, что, помимо того, что он был мне до смешного не по мерке, на этот размер колес невозможно было найти ни покрышек, ни камер. А если в тот момент шины с мягкой французской резиной были еще вполне исправными, то ко времени, когда Сергей подрастет, т. е. лет через десять, резина сохнет. А тогда надо было «реализовать» велосипед, пока он вполне на ходу.

Вот тут-то и подвернулась поповна, приходившая зачем-то к Наталии Владимировне, и, увидав велосипед, попросила дать его покататься.

У попа фруктово-ягодный сад был огромный, я в нем бывал. В урожайный год там сборы должны быть большими пудами, так что, конечно, поп возил продавать свои ягоды в Москву. Мне казалось, что на деньги продать велосипед Порядочнову или в Москве, в комиссионном магазине, нет смысла. А кушать на будущее лето вволю разных ягод будет полезно Сергею и Наталии Владимировне. Последняя, хозяйка велосипеда, сама совершенно им не пользовалась и, по обыкновению, доверила моему мнению и отдала велосипед поповне.

Мы не получили за велосипед почти ничего. Правда, лето было страшно засушливым и ягоды почти не уродились. За все лето поповна принесла нам раза два — максимум три по тарелке малины и крыжовника. Тем и кончился весь расчет. О том, чтобы взамен дать осенью картошки или ржи, в поповой семье не хотелось думать, одно дело христианский долг, а другое дело — коммерческий. Так и остались мы и без «плодов земных», и без велосипеда.

Третья наша операция товарообмена вылилась в целую эпопею и чуть не стоила мне жизни. Зимой 1920—21 года голод надвинулся на нас так, что в начале марта мы с Наталией Владимировной больше недели не видали куска хлеба, а питались лишь пшеном и брюквой, скудный больничный паек шел целиком на питание Сергея. Так как до нового урожая хлеба оставалось полгода, а на свои овощи рассчитывать было можно тоже не скоро, то надо было ехать за мукой в хлебные районы.

Не помню точно, но, вероятно, Наталия Владимировна списалась с няней Дарьей в Туле о моем предстоящем приезде с платьями и пальто для обмена на муку. Самый обмен должен был продать нянюшкин «плимменник», живший у няни Дарьи со всей своей семьей, ожидая, когда тетка помрет и оставит ему свой дом в наследство. Добротный дом

нянюшка выстроила себе «про черный день», живя «в людях, у хороших господ».

Была вторая половина марта, но ударили небывалые морозы. Я пробирався случайными поездками, влезая на площадки переходов между вагонами с мечтой проникнуть и в тамбур на ходу поезда. В Москве посадки на серпуховской поезд ожидали долгими часами сотни людей, сидевшие и лежавшие на плиточном полу в туннеле Курского вокзала. Ругань пассажиров, железнодорожных служащих и носильщиков, плач и крики детей, ползающих по полу между ног, и какое-то безнадежное, бесконечное ожидание поезда и выпуска на перрон, когда все эти обезумевшие люди бросятся захватывать места в вагонах, толкая друг друга сундуками, опрокидывая и сталкивая с подножек и приступок вагонов. Настойчиво протискиваясь уже несколько часов вдоль стенки туннеля, я наконец очутился у самой поперечной решетки с заветными дверцами, которые раскроют стоящие по ту сторону контролеры билетов и командировочных удостоверений, выдаваемых какими-то строгими инстанциями; я надеялся, что отсюда успею вырваться на перрон с первой партией и проникну в вагон. Холод, голод и утомление усугублялись тем тяжелым сознанием, что всюду свирепствует сыпной тиф и что от вшей в такой тесноте и давке защиты нет.

«Па-азвольте, па-азвольте», — раздалось у наружного входа туннеля, а затем все приближалось к калитке в решетке, у которой я терпеливо стоял уже несколько часов. Затем я увидел, что два носильщика несут, подняв на плечи, прекрасные новенькие кожаные чемоданы, а в другой руке — портпледы; сзади них шла стройная дама в чудном котиковом манто, а за ней мужчина в барашковой шапке «пирожком» и шубе с каракулевым воротником «шалью». «Па-азвольте», — громко, настойчиво твердили носильщики, переступая через ноги сидевших на каменном полу мужиков и баб. Сквозь толпу, стоявшую у выпускной калитки на перрон, эти носильщики пробили дорогу себе и даме с мужчиной просто силой. Но дверца была заперта, и с той стороны стояли двое контролеров. Тогда первый носильщик нагнулся к контролеру и сказал ему: «Пропустите, они с поезда Троцкого!» Контролер тотчас стал отпирать дверцу, а я тем временем глянул на знатных пассажиров и, к своему удивлению, узнал Лелю Тимашеву и А. А. Оконева — ее мужа. Я успел ее окликнуть, она узнала меня в моем черном романовском полущубке и кивнула головой с легкой, деланной улыбкой. Они быстро прошли, а дверцу за ними опять с шумом захлопнули.

Так вот где довелось встретиться! Я слышал от Алексея Васильевича, что, к ужасу Антонины Платоновны, ее любимая меньшая дочь бесповоротно решила выйти замуж за Александра Александровича Оконева, человека со столь скандальной известностью.



Прежде он был женат на кафешантанной певице Регине Богуславской и занимался представительством шампанских вин «Мум» в дорогих ресторанах Москвы. А еще раньше он был офицером 13-го кавалерийского Орденского полка, которым прежде командовал его отец. И вот, в бытность офицером, Оконев в ресторане «Медведь» в Петербурге застрелил студента, который не встал в новогоднюю ночь при исполнении гимна «Боже, Царя храни». Публика тогда Оконева избила бутылками и стульями, а по суду он получил три месяца ареста в Петропавловской крепости, после чего был удостоен «высочайшей аудиенции». Николай II поцеловал Оконева в лоб и сказал: «Не надо горячиться».

Это мне рассказывал сам Оконев (кроме того, что публика в ресторане его жестоко избила), с которым я несколько раз встречался у А. Ф. Морозова. Понятно, что это убийство студента из оголтело-монархических побуждений, его служба офицером одного из самых «аристократических» полков и аудиенция признательного монарха — все это сразу пришло мне на память, когда я увидел его и Елену Семеновну, шествующих в нарядном виде... в поезд Троцкого. «Tempora mutantur!» — времена меняются!

Через несколько месяцев откуда и как вернулась Леля в Москву, я не знаю, но вернулась она неутешной вдовой, потеряв Александра Александровича где-то на юге от сыпного тифа. Она обучалась стенографии и сама стала преподавательницей этого дела. Последний раз я встретил ее на кладбище близ д. Дегунино при похоронах Алексея Васильевича Иванова, т. е. 5 декабря 1935 года.

...Выменяв вещи Наталии Владимировны на муку, я двигался дни и ночи, не считаясь ни с чем, кроме усталости лошади, которая доела последний клочок сена задолго до Серпухова.

Вон уже виднеется березовая рощица в саду при домике д-ра Каринского в Никольской больнице. Еще полчаса, и слева на горизонте можно различить парк «Захарьина» и поверх деревьев силуэт водонапорной башни. Поворот у д. Бутаково на наше куркинское шоссе, и через полтора часа я подъехал к своему домику и не входя, снаружи, громко окликнул жену.

Она выбежала наружу в одном платье и бросилась мне на шею. Чего только она не передумала за эти десять дней!!! Два пуда муки было сокровищем ни с чем не сравнимым. Его должно нам хватить до нового урожая.

\* \* \*

Несколько слов о художниках, живших в Захарьине с нами в те годы.

Николай Алексеевич Касаткин поселился там для должности учителя рисования при детях, лечащихся от костного туберкулеза месяцами

и годами. Разумеется, мастера, подобного Касаткину, т. е. академика живописи, автора прославленных картин, вовсе не требовалось для обучения рисованию больных детей, большею частью дошкольного или младшего школьного возраста. Конечно, сам Касаткин воспользовался этой возможностью, чтобы переселиться из тревожных условий московской жизни с ее продовольственными и топливными трудностями в отдельную хорошую комнату в теплом помещении общежития сестер и учителей, рядом с комнатой Алексея Васильевича. Жил он там отлично, гулял в роскошном захарьинском парке и вращался в обществе врачей, весьма культурных и воспитанных.

С моей семьей Касаткин очень подружился, со мной он постоянно встречался в самой больнице, на работе и, кроме того, часто приходил специально для сеансов физиотерапии. К Наталии Владимировне он часто приходил посидеть на террасе, имея массу времени совершенно свободного, ибо с детьми в больнице он занимался часа полтора-два утром и час-полтора во второй половине дня.

Касаткину было тогда лет под шестьдесят, вся его творческая деятельность была в прошлом. И меня удивляло, почему этот человек, давший столько великолепных картин в прежние годы, ныне совершенно не начинает новых работ? Репин много старше Касаткина, а ведь он не прекращает работать в мастерской буквально ни на один день! Да не один Репин.

Свои занятия с больными детьми Касаткин проводил довольно оригинально. Уроки рисования он сочетал с занимательными рассказами по естествознанию, для чего у него в цветочных горшках выращивались посе́вы ржи, пшеницы, овса, ячменя, картофеля. Все эти растения при обильной поливке в хорошей земле развивались очень пышно и служили действительно превосходной натурой для рисования и благодарной темой для рассказов.

Касаткин сделал в Захарьине три очень больших стенных росписи в центральном холле нижнего этажа. Так как в этом помещении часто ставились кровати с детьми для укрытия от дождя, то Касаткин избрал сюжеты сказок и остановился на работах В. М. Васнецова. Одна стена вместила «Витязя на распутье», размер примерно метров 6 × 4. Такая же стена визави разделена пополам, и на ней Касаткин написал «Аленушку» и «Ивана-царевича на сером волке». Все три картины были выполнены мастерски, масляными красками. Взамен рам вокруг них Касаткин сделал широкие окантовки, выбрав из имевшегося у него печатного альбома великолепные русские орнаменты с весьма сложным, витиеватым ажуром.

Эти три художественных панно стали ценными украшениями нижнего вестибюля санатория, и я не могу понять, почему последующие ад-

министраторы, когда Захарьино отошло под легочный туберкулез, сочли нужным эти фрески уничтожить.

Когда мы с Наталией Владимировной переселились из Серпухова в Москву, то Касаткин нас разыскал и посетил раза два. Внешне он абсолютно не изменился за лет 10—12. Его голову поразительно выполнил И. Д. Шадр в бронзе, это — настоящий живой Николай Алексеевич.

С похоронами его вышло недоразумение. Так как Касаткин был не только крупным художником, но и, так сказать певцом рабочего класса, шахтеров, то «Всекохудожник» отпустил 1000 рублей на покупку гроба и цветов. Но двое из «комиссии» по похоронам, художники П. М. Ш — н и А. Гр-ев от огорчения запили и пропили гроб целиком. Пришлось выбрать другую комиссию, и деньги выдать вторично.

Третью стену вестибюля санатория взялась расписывать *Антонина Леонардовна Ржевская*. Она была автором очень известной картины «Веселая минутка», находящейся в Третьяковской галерее: в столярной мастерской внук играет на гармонии, а пришедший навестить его дед, не снимая полушубка, лихо пляшет. Картина — великолепная. Кроме этой, известна и другая картина Ржевской — «На хорах».

Но, видимо, эти удачи художницы относились к ее молодости или зрелому возрасту, а тогда, в Захарьине, ей было уже около семидесяти.

Жила она, занимая одну из комнат в моем особнячке, так что Наталии Владимировне и мне можно было видеть ее постоянно в собственной квартире, в коридоре и на кухне. Годы легли тяжелым грузом не только на ее внешности, но и на рассудке.

На второй год нашей жизни в Захарьине, золотую осень 1920 г., узнавши, что Аполлинарий Михайлович Васнецов бедствует в Москве, ибо в период разрухи и полной девальвации денег спрос на картины был плохой, я заехал к нему (в Доброслободском переулке, близ Земляного вала) и пригласил поехать на недельку в «Захарьино». Будучи до того совершенно незнаком со мною, Васнецов побоялся дать согласие и обещал подумать. Я сказал ему, что Касаткин живет у нас постоянно, что Ржевская тоже скоро приступит к работе и что общество врачей в санатории — все люди очень культурные. Мы расстались, но когда через неделю, будучи в Москве, я опять зашел пригласить Васнецова, то он явно обрадовался, быстро собрал ящик с красками — этюдник и, простившись с женой, побрел со мной на Октябрьский вокзал. В Химках нас встретила лошадь из санатория, и мы хорошо доехали.

Аполлинария Михайловича мы с Наталией Владимировной поместили у себя на квартире. У нас он же и столовался. Он был очень молчалив как за столом, так и в другое время. Осмотревши дивный захарьинский парк, Васнецов выбрал местечко, откуда открывался красивый вид на долину речки Сходни и высокий противоположный край оврага с соколовским парком. Здесь он расположился и стал писать этюд. Вещь

получилась замечательная, ибо Аполлинарий Михайлович был превосходный пейзажист.

Прошло много лет.

Алексей Васильевич после моего отъезда в Серпухов пробыл в Захарьине еще год, после чего санаторий был отдан под легочный туберкулез. З. Ю. Ролье вернулась на свое прежнее место в Сокольники, а А. В. не вернулся в Никольскую больницу, где Е. Б. Рапопорт уже освоилась и прижилась, а скоро она пристроила к себе же в больницу и братца Юрия Борисовича, только что получившего врачебный диплом.

Алексей Васильевич поступил ординатором в Рихтеровскую лечебницу в Ховрине. Это была замечательная больница Московского губернского земства, выстроенная специально для физиотерапии.

Ее возглавлял Андрей Федорович Михайлов — строитель и бессменный главный врач, совершенный фанатик электросветорентгено-терапии.

А. Ф. Михайлов добился постройки этой роскошной больницы не без труда. Председатель губернской земской управы Рихтер, отпустивший громадную сумму денег (а может быть, и пожертвовавший их, ибо больница сразу получила его имя), предоставил врачам самим решить, что лучше сделать: распределить эти деньги по всем больницам губернского земства для устройства в них физиотерапевтических кабинетов или же выстроить богатую специализированную больницу, куда соответственных больных можно направлять отовсюду.

Оба варианта имели «за» и «против», а потому при решающем голосовании постройка ховринской больницы прошла всего одним голосом — Алексея Васильевича. Михайлов это знал, и, разумеется, когда через лет двадцать, человек, решивший своим голосованием закладку больницы, теперь сам был без места, он немедленно дал ему должность ординатора-терапевта этой больницы.

Но ординаторская ставка была невысокой, а жить было довольно дорого. После стольких лет житья врозь и Наталия Лаврентьевна, наконец, переехала к мужу в Ховрино. Правда что, к жалованью добавлялась пенсия, на которую Алексей Васильевич имел право по возрасту, отработав уже лет сорок врачом. Но эта пенсия была лишь 153 рубля в месяц.

И вот нам пришла мысль, что если обратиться к кому-нибудь из главных правительственных деятелей и сослаться на роль Алексея Васильевича в деле спасения Фрунзе, то пенсию могут повысить.

Я написал от себя письмо К. Е. Ворошилову, соратнику и преемнику Фрунзе, и просил, если возможно, повысить пенсию Алексею Васильевичу. Письмо я переслал через своего приятеля Петра Васильевича Мандрыко, главного врача Военного госпиталя в Москве.

Прошло месяца два, вдруг Алексея Васильевича приглашают приехать в Москву в какое-то очень высокопоставленное учреждение. Когда

он приехал, то лицо, вызывавшее его по повестке, стало расспрашивать про дело Фрунзе, подробности на самом процессе и прочее. Среди этих расспросов через открытую дверь из соседней комнаты медленно вошла пожилая дама и, постоявши некоторое время, сказала: «Нет никаких сомнений — он самый, я узнаю». И она назвалась сестрой М. В. Фрунзе, она была сама на процессе брата в суде в 1907 году и лично помнит показания того свидетеля, который действительно спас жизнь Фрунзе своим бескорыстным, мужественным вмешательством. «Только, — добавила она, — Вы, конечно, с тех пор изменились». Еще бы!!!

Вскоре пенсию Алексею Васильевичу повысили до 260 рублей в месяц. Вместе с ординаторским жалованьем обоим старикам стало хватать на прожитие.

А жил Алексей Васильевич в Ховрине отлично. Работа в больнице его не переутомляла. Близость Москвы и расположение больницы в полукилометре от станции Ховрино позволяла Алексею Васильевичу ездить в Москву, когда вздумается, и к нему старые друзья приезжали тоже часто. То Ржевский, то Н. Д. Титов, Н. Н. Печкин, Ролье, Гетье, Кандорский, Сахаров — кто только не ездил навестить любимого старого друга; часто ездил и я с Наталией Владимировной.

Но для словоохотливого и общительного компаньона, каким всю жизнь был Алексей Васильевич, здесь, в Ховрине, открылась совершенно исключительная возможность приятного времяпрепровождения в особом, избранном обществе. Дело в том, что Андрею Федоровичу Михайлову удалось убедить в чудотворных свойствах электрических лучей и световых ванн некоторых из крупных певцов московской оперы. Они стали ездить к нему лечиться и даже «подтягивать и укреплять голос». А познакомившись не только с доктором, но и с его очень красивой молодой женой, артисты стали очень охотно собираться вечерами у них дома.

Александра Ларионовна (Михайлов женат был второй раз, от первой жены у него было трое взрослых сыновей) была в восторге принимать у себя цвет московской оперной сцены, вплоть до Собинова, Неждановой и Голованова. В результате в Ховрине и лечились, и отдыхали, и в преферанс играли, иногда на двух столах. И хозяева и гости были довольны.

Вот в какую компанию попадал Алексей Васильевич раза три в неделю, а то и чаще. Сидели гости до последнего поезда, т. е. так до часу или полвторого ночи. Бывало, наговорятся и наиграются в карты всласть.

Я, конечно, никогда не оставался на вечер, ибо сам в карты не играл, но знал, что картежники не любят, чтобы им мешали разговорами. Зато помню, как однажды днем к террасе, на которой мы сидели с Алексеем Васильевичем, подошел с корзинкой в руке Л. В. Собинов

и стал звать его в лес за грибами. Алексей Васильевич уже много лет болел так называемой перемежающейся хромотой, т. е. периодическим спазмом мышц голени. «Вот он грибник замечательный», — сказал А. В., указывая на меня.

Мы пошли нарезать опят (опенков) на соседней лесной вырубке. Был чудный сентябрьский день: тепло, сухо, безветренно. Неподвижные золотые листья осин так красочно выделялись на темно-синем небе, с тревожным стрекотанием перелетали осторожные осенние дрозды, готовящиеся к отлету на юг.

Мы ходили близко один от другого, так что могли разговаривать. Я вспомнил, что Леонид Витальевич родом из Ярославля, и сказал ему: «Из Ваших земляков один стал знаменитым хирургом». «Кто же?» — спросил Собинов. Я ответил, что С. И. Спасокукоцкий.

Он насторожился, а потом вспомнил: «Верно, были у нас такие!» — и вдруг, продолжая ходить по лесу, он запел своим хотя слегка потускневшим, но все еще дивным серебряным голосом: «Спа-а-со-ку-коцкий, Спаса-о-о-кукоцкий» и т. д. на какой-то незнакомый мне мотив.

Я слушал, слушал, а потом говорю: «Леонид Витальевич! Уж ежели Вам не жаль тратить голос в лесу, для меня одного, то, пожалуйста, спойте что-нибудь другое, все равно что, лишь бы не фамилию моего друга, очень уважаемого, но мало пригодную для либретто романса».

Он смолк на минуту и вдруг запел. Запел одну из лучших своих партий, ту, с которой он вошел в мою юность, — арию Ленского перед дуэлью. Но, был ли он в озорном настроении, или по другой причуде, но всю арию он пропел... на украинском языке.

Конечно, я испытал любопытство, но не получил художественного удовольствия, даже в исполнении Собинова. Мы так привыкли к русскому тексту арии, что на украинском языке для меня, москвича, она звучала вроде того, что я однажды в Берлине слышал с граммофонной пластинки: «Wochin, wochin, wochin bist du verschwunden?» — исполнение той же арии.

Когда Собинов допел арию до конца и спросил, понравилось ли мне, я шутя ответил ему тоже по-украински — первую фразу из знаменитого монолога Гамлета: «Бываты, та не бываты, о то закавыка».

Он слегка улыбнулся моей шутке, и мы пошли домой.

На той же маленькой террасе нас поджидал Алексей Васильевич, встретивший обоих своей доброй, ясной улыбкой.

А ровно через год их не стало обоих, почти одновременно. Умерли подряд Владимир Николаевич Розанов — главный хирург Кремлевской и Боткинской больниц, а через несколько дней в Риге скончался Собинов, которого привезли хоронить в Москву. Его гроб вынесли из зала Большого театра под звуки вагнеровского траурного марша «Гибель богов».

А в Ховрине в те самые дни тяжело, мучительно погибал Алексей Васильевич. Ему было уже около 70 лет. Хорошо, честно и довольно счастливо прожитая жизнь заканчивалась, увы, долгой и нелегкой агонией. Приступы сердечно-почечной недостаточности то совсем отнимали всякую надежду, то ненадолго облегчались. В один из таких периодов улучшения он сказал мне с обычной своей улыбкой: «Эх, какой момент для своей смерти упустил! Подумать только — отправиться на тот свет в такой чудной компании, как Володя Розанов и Собинов!»

В этой шутке Алексей Васильевич отразил лишний раз отличительную черту своего характера — общительность и тягу к людям интересного содержания. Таков он был всю жизнь, таким остался и у края могилы.

Но надо твердо признать, что, общаясь с людьми, по большей части чем-либо выдающимися, Алексей Васильевич тем их и привлекал к себе, что сам был человеком далеко не заурядным. Не его вина, что ход русской истории совершенно нивелировал те задачи и начинания, которые были очень прогрессивными и нужными в программе московского земства. За короткое время новые идеи социального и политического переустройства так же без остатка поглотили скромные общественные идеалы прежних земских деятелей, как грандиозно разросшаяся социалистическая Москва уже поглотила в себе почти игрушечную Никольскую больницу — его детище.

Но это не значит, что жизнь его была прожита напрасно. В этой Никольской больнице за двадцать лет при нем и за 30 лет без него тысячи людей обрели здоровье и часто спасение от смерти. Одно это стоит человеческой жизни.

Но это не все. Вот та общительность, приветливость и душевная прямота Алексея Васильевича, о которой я упоминал неоднократно, не только влекла к нему людей, но *помогала жить* этим людям. Он был природный оптимист, никогда не унывающий. И это свойство облегчало и исцеляло других, более пессимистичных или упавших временно духом. От него люди всегда уезжали не только отдохнувшими, но и облегченными.

В моей жизненной карьере он был главным персонажем, сразу определившим весь последующий курс моей жизни. Любовь к хирургии у меня возникла до знакомства с ним, но он ее поддержал, поощрил и развил. Любовь к науке пришла позже, но и ее он неустанно подстегивал похвалами и игрой на моем самолюбии. Но еще больше я обязан Алексею Васильевичу за те твердые понятия о врачебном долге и товарищеской чести, которые он вложил в меня как множеством рассказов, так и собственным примером. Ему же всецело я обязан знакомством с теми прекрасными и выдающимися людьми, о многих из коих я писал выше.

Меня он очень любил, полюбил сразу и на всю жизнь. Будучи со всеми своими товарищами «на ты», меня он назвал так лишь один раз, при обстоятельствах действительно особых.

Лет за пять до смерти у него вдруг остро встала моча. Мне позвонили по телефону в Москву из Ховрина, и я сам съездил и привез его каретой «Скорой помощи». Оказалась гипертрофия простаты, и надо было срочно накладывать надлобковый свищ на мочевой пузырь.

Когда я, вымытый для операции, подошел к нему, лежавшему уже выбритым на операционном столе, то он сказал мне при всех, даже несколько повышенным голосом:

— «Ну,— валяй, делай! Теперь твой черед мне оказать услугу. Тебя я когда-то мальчишкой подобрал и старался в люди вывести. А с тех пор мы с тобой пуд соли, пожалуй, уж съели!»

Ни после операции, ни в последующие годы он мне больше «ты» не говорил.

А «пуд соли» мы с ним, конечно, вместе съели. Его дружба облагораживала мои чувства при его жизни. Его светлый облик сопровождал меня на жизненном пути и после, как благородный пример, которому я должен следовать не только сам, но который я обязан передавать и тем, которые растут и учатся около меня. Учатся не одному лишь хирургическому ремеслу, а большой врачебной Правде.



## СОДЕРЖАНИЕ

Вместо предисловия . . . . .	3
Подарок ко дню рождения . . . . .	5

ЮДИН Сергей Сергеевич  
ПОДАРОК КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ

Редактор Г. В. Куликовская

Составитель Г. С. Юдина

Технический редактор Т. Я. Ковыненкова

---

Сдано в набор 18.01.90. Подписано к печати 01.03.90. А 09418. Формат 70 × 108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага газетная. Гарнитура «Гарамонд». Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,10. Усл. кр.-отт. 2,28. Уч.-изд. л. 3,10. Тираж 150 000. Зак. № 1844. Цена 25 коп.

---

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.



### **СТРАХОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ.**

● «Око видит далеко, а ум еще дальше» — гласит русская пословица.

● Воспользовавшись этой народной мудростью и заключив договор страхования дополнительной пенсии, Вы по достоинству оцените возможность увеличить свою пенсию на 10, 20, 30, 40 или 50 рублей. Определенная договором дополнительная пенсия будет выплачиваться Вам пожизненно.

● Договоры заключаются с рабочими, служащими и колхозниками: женщинами в возрасте от 20 до 60 лет, мужчинами в возрасте от 25 до 65 лет.

● Сумма взносов зависит от возраста страхователя и выбранного размера дополнительной пенсии.

● Итак, как говорится, «думайте сами, решайте сами»

● Подробную информацию о проведении страхования дополнительной пенсии можно получить в инспекции Госстраха или у страхового агента, обслуживающего Вас по месту работы.

**Госстрах РСФСР**